

✓ $\frac{563}{598}$

Ha 1838r.

$\sqrt{\frac{563}{598}}$ Альманах на 1838 изд.
составленный из мете-
рологических трудов.

СПб., 1838.

$\sqrt{\frac{563}{352}}$

→ Этот шифр
указан в 7К и ГАК,
но он неверный

$\sqrt{\frac{563}{193}}$ удобн.

скач. в к

$\sqrt{\frac{575}{208}}$ ветхая

МК

360 с.

Б
78-29 Режимы и автоматизация процесса ударно-вращательного бурения / [Р. Х. Гафиятуллин, О. В. Игнатъев, И. М. Кузнецов, А. Е. Троп]. — М. : Недра, 1978. — 153 с., ил.; 22 см.

1108 Авт. указаны на обороте тит. л.
Библиогр.: с. 150—152 (49 назв.).
50 к. 1.800 экз.

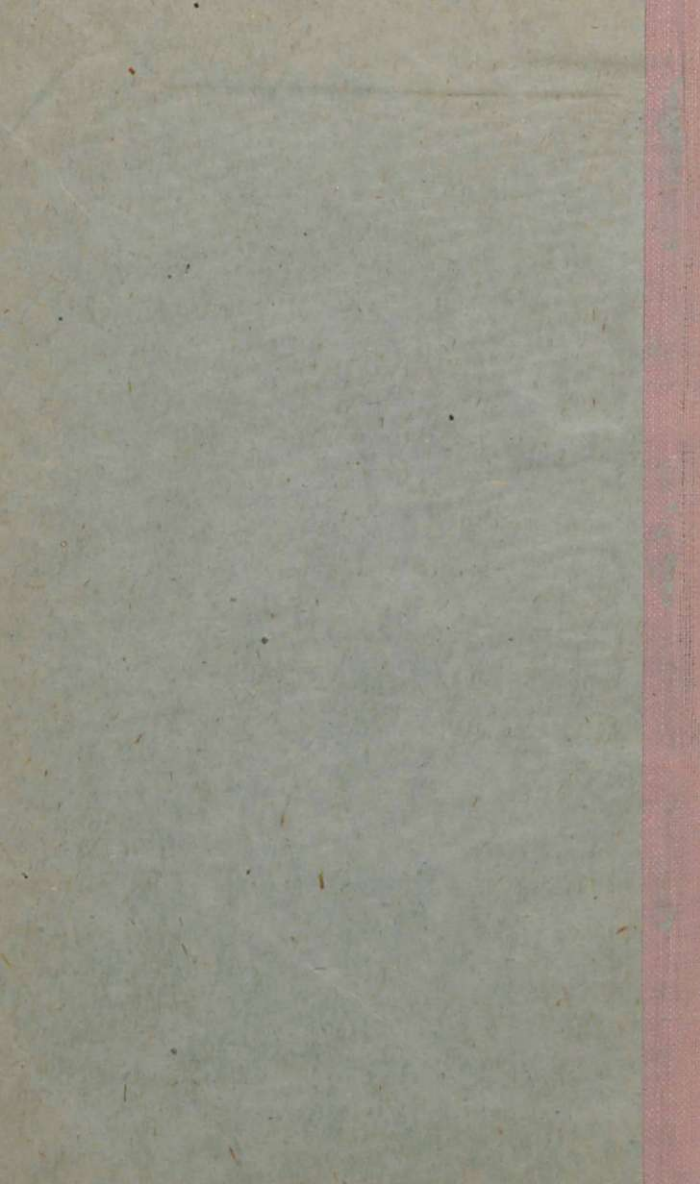
Б
78-29 I. Гафиятуллин, Рафаиз Хазеевич и др. — — I. Бурение ударно-вращательное — Режимы.

И 131.113-5-05,07
622.243.952.084

1109 №1958 25.2
28 №37 [78-105035] п тп
Вс.ки.пал. 16.01.79 P339

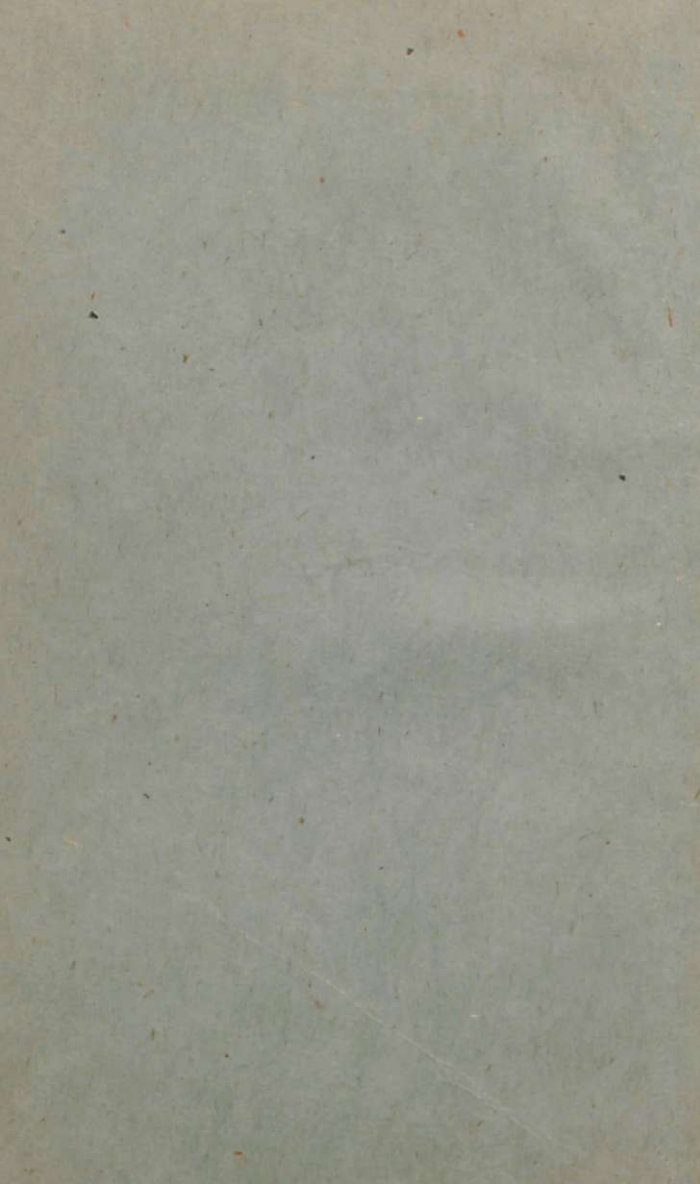
P 30703-465/043(01)-78 336-78

309



cip ket 3.7.87

5 mar. 19.5.89



563
598

95

АЛЬМАНАХЪ

НА 1838 ГОДЪ,

СОСТАВЛЕННЫЙ

ИЗЪ

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ТРУДОВЪ

БЕРНЕТА, В. А. Владиславлева, П. А. Вяземскаго (Князя),
Ф. Н. Глинки, Е. П. Гребенки, Э. И. Губера, В. П. Дала,
М. Д. Деларю, Н. Н. Дмитриева, П. П. Ершова, П. П.
Каменскаго, П. П. Козлова, Н. В. Кукольника, В. Ф.
Одоевскаго (Князя), И. И. Панаева, П. Я. Пожарскаго,
А. С. Пушкина, Е. Ф. Розена (Барона), Е. П. Р. — ой
(Г...ни), В. П. Соколовскаго, Н. А. Степанова, А. Н. Стру-
говщикова, Д. Ю. Струйскаго, Л. А. Якубовича.

Санктпетербургъ.

Печатано въ Военной Типографіи.

1838.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы, по напечатаніи, представлено
было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное
число экземпляровъ. Санктпетербургъ. Декабря
17-го дня 1837 года.

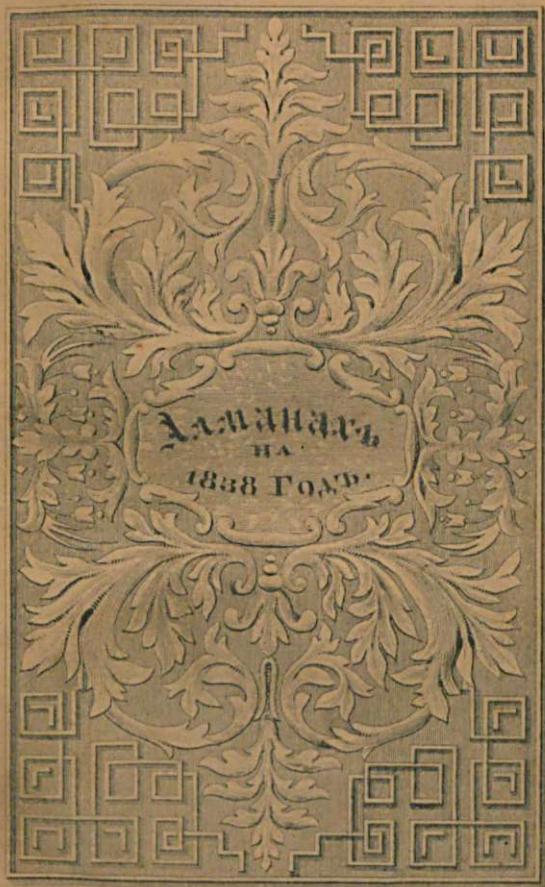
Ценсоръ А. Фрейгангъ.



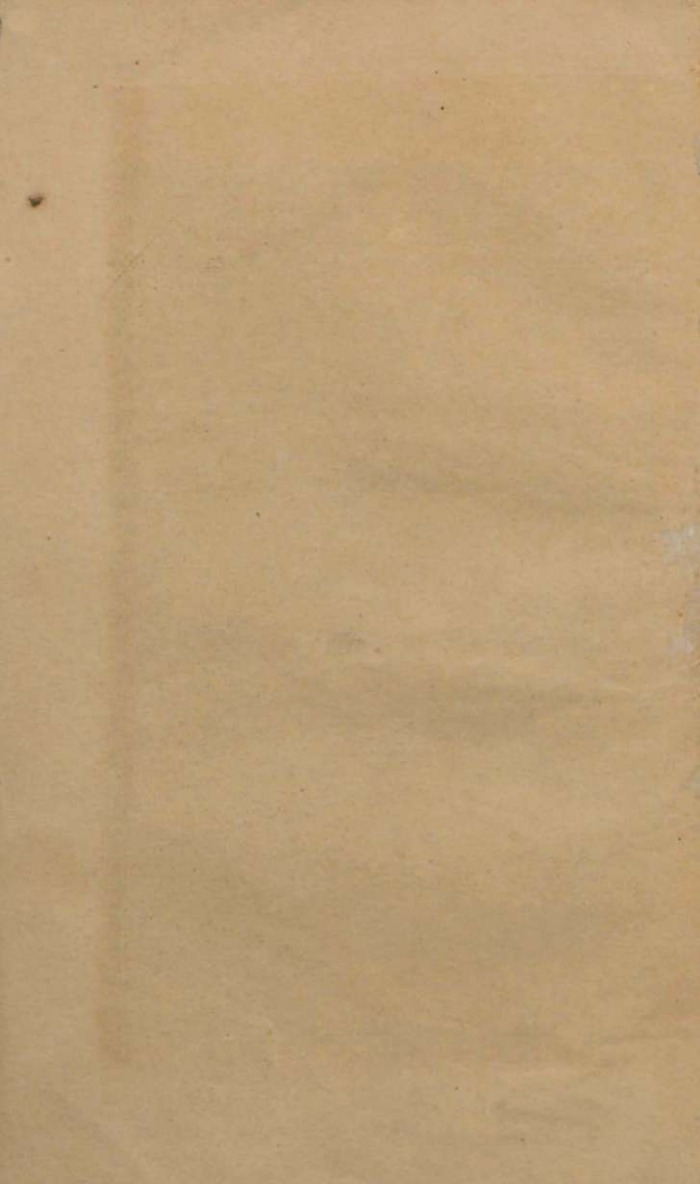
20330-61



2011094718



Аманда
НА
1838 ГОДЪ







Писаль В. Гау - Граф Николай Уткинъ.

Ея Императорское Высочество
ВЕЛИКАЯ КНЯЗНА
МАРІЯ НИКОЛАЕВНА.

АЛЪМАНАХЪ

НА 1838 ГОДЪ.

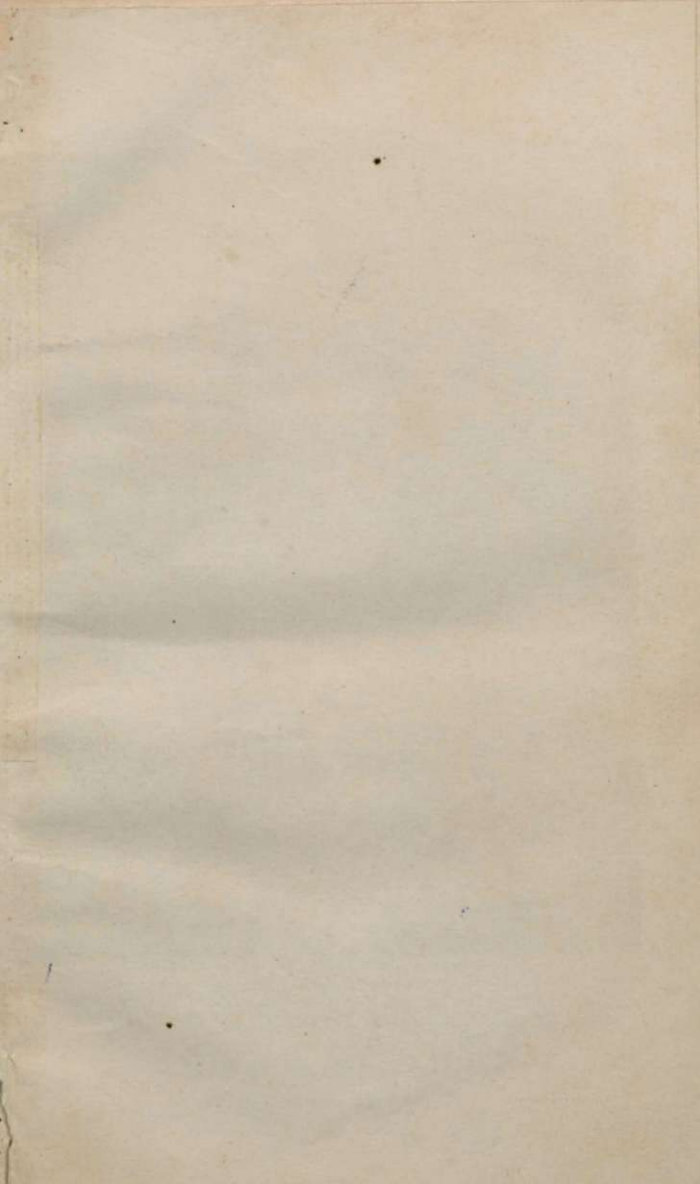
ИЗДАНЫИ ВЪ ВЛАДИСЛАВЛЕВЫИЪ.



Рисовъ А. Венецианскаго

Литографъ П. Селивановъ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.





Писалъ В. Гау - Грав. Николай Уткинъ.

Ея Императорское Высочество
ВЕЛИКАЯ КНЯЗНА
МАРІЯ НИКОЛАВНА.

ГРАВЮРЫ.

I.

Портретъ Ея Императорскаго
Высочества Великой Княжны
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ.

(Писалъ г-нъ Гау, гравировалъ Н. Уткинъ.)

II.

НАВОДНЕНИЕ 7-го НОЯБРЯ 1824 г.

(Рис. В. Шебуевъ, грав. С. Галактионовъ.)

Эскизъ сей находится у самаго худож-
ника.

III.

СВНЛА.

(Пис. О. Бшпренскій, грав. О. Райтъ.)

Картина находится въ Академіи Худо-
жествъ.

IV.

ОДАЛИСКА.

(Писалъ Е. Плюшаръ, грав. Б. Леонасьевъ.)

Одалиска принадлежитъ г-ну Колмерджи.
Эскизъ *Наводненіа*, *Сивилла* и *Одалиска* находились на послѣдней выставкѣ Академіи Художествъ.

V.

МАТЬ, УЧАЩАЯ ДѢТЕЙ СВОИХЪ МОЛІТЬСЯ.

(Писалъ А. Венеціановъ, грав. Ф. Райтъ.)

Эта картина принадлежитъ Ея Императорскому Высочеству Великой Княжны МАРІИ НИКОЛАЕВНЫ.

ИЗЪ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ (*).

Нынѣ трудно увѣрить, что я не домогался покровительства журналистовъ; не употреблялъ никакихъ уловокъ къ распространенію моей извѣстности, не старался изъ зависти унижать самобытный талантъ, въ комъ-бы то ни было, и никогда много не думалъ о стихахъ моихъ. Повѣрять или нѣтъ, совѣсть моя спокойна. Часто приходило мнѣ даже на мысль, что я и совсѣмъ не поэтъ, а пишу только по какому-то случайному направленію, по одному навыку къ механизму, даже и тогда, когда писалъ уже не *про себя*. Я думалъ, и въ томъ убѣ-

(*) Эти строки написаны покойнымъ Иваномъ Ивановичемъ Дмитриевымъ, за два мѣсяца до его кончины, въ альбомъ Л. А. Якубовичу.

жданъ былъ, что кощунство, изображеніе картинъ, возмущающихъ непорочность, прѣвѣтствіе къ *олелямъ* безъ дара Катулла или Анакреона, даже дружескія посланія, растворенныя многословіемъ, не принадлежать къ достоинству истиннаго поэта.

Такъ! я и теперь не перемѣнилъ моего мнѣнія. Поэзія, порожденіе Неба, хотя и склоняетъ взоръ свой къ землѣ, но — здѣсь она проникаетъ въ глубину сердецъ, наблюдаетъ сокровенныя ихъ изгибы, и живописуетъ страсти, держась всегда нравственной цѣли, воспламеняетъ къ добродѣтели, ко всему изящному и высокому, а тамъ — изливается въ удивленіи къ Мірозданію и трепетномъ благоговѣніи къ Непостижимому. Вотъ назначеніе истинной поэзіи! Вотъ почему она и называется органомъ боговъ, а вдохновенный ею — поэтомъ!

Въ знакъ искренняго уваженія и на память о себѣ, ввѣрлетъ эту исповѣдь одному изъ любимыхъ его поэтовъ

Старикъ ДМИТРІЕВЪ.

ШКОЛА.

Стояет море; у Рамбова
Молодой гуляет флотъ;
Ботъ отъ домика Петрова
Въ море смее идти.

Море бурно. Чтò бояться?
Самъ Хозяинъ у руля;
Бдетъ по морю кататься
Государева семья.

Словно чаекъ робкихъ стадо
Нескій флотъ, безъ парусовъ,
Государя провожая,
Шевелится у береговъ.
Раззолоченъ, разукрашенъ
Яликъ Бесаря дрожитъ;
Бесарь, какъ погода, мраченъ;
Сердце ужасомъ болитъ.
Смотритъ Бесарь на волненье,
Какъ на бунтъ Стрѣльцовъ, и ждетъ,
Скоро-ль съ бота повелѣнье
Государь ему пришлетъ

Воссоис возвратиться?

Но крыль разкинуть, боть,

Словно лебедь, въ даль плыветь.

Нѣтъ указа воротиться!

Громъ и молнія; подъ тучей

И безстрашный и могучій

Тихо плаваетъ Орель.

Презирая непогодой,

Онъ зачѣмъ туда пошелъ

На неравный бой съ природой?

Что ему твой трескъ громовъ!

Буря сильному знакома.

Онъ у самыхъ облаковъ

Учитъ молодыхъ орловъ

Не бояться бурь и грома.

Н. КУКОЛЬНИКЪ.

(Петергофъ. 11-го Июля 1837.)

КОШЕЛЕКЪ.

(Сцены изъ Петербургской жизни.)



I.

«Старушка мать, бывало, подъ окномъ
Сидѣла, днемъ она чулокъ вязала,
А вечеромъ, за маленькимъ столомъ
Раскладывала карты и гадала.»

Пушкинъ.

— Ахъ, тетушка, какъ хорошъ вашъ
Петербургъ! Миѣ никогда и во снѣ не сни-
лось ничего подобнаго! Какъ здѣсь все
великолѣпно! какія набережныя, какія
площади, какіе дворцы, какіе огромные
дома, какія нарядныя дамы, какіе экипажи!
А останавливались-ли вы когда-нибудь,

тетушка, передъ монументомъ Петра въ лунную ночь? Любовались-ли Невою? — Господи Боже мой, какъ хороша ваша Нева, тетушка!

Такъ говорилъ въ лирическомъ жару молодой человекъ «съ цвѣтущими ланитами и устами», съ простодушнымъ взглядомъ, въ длинномъ, гораздо ниже колѣнъ, сюртукѣ, — настоящимъ представителемъ отраднago деревенскаго быта.

Тетушка, къ которой онъ адресовался съ своею кудрявою, дѣвственною рѣчью, была старушка, какъ обыкновенно бывають всѣ простыя Русскія старушки, съ морщинами на лицѣ, съ чепцомъ на головѣ, съ очками на носу и съ чулкомъ въ рукахъ.

Страшна показалась тетукѣ рѣчь племянника — и прутки замерли въ ея рукахъ — и она отложила чулокъ на маленькй столъ, который стоялъ возлѣ нея, подняла очки на лобъ, протерла глаза и пристально посмотрѣла на племянника.

— Что это ты, Иванушка? Богъ съ тобой! Экой проказникъ: что я за полумная, что стану ходить по ночамъ да глазѣть на памятники?

И старушка отъ души смѣялась надъ проказникомъ.

Въ эту минуту дѣвушка, сидѣвшая на скамейкѣ, у ногъ старушки, выронила изъ рукъ иголку и шитье, подняла вверхъ свои темно-голубые глазки, закинула назадъ свою Грѣзовскую головку, всю въ локонахъ, взглянула на старушку, потомъ украдкою бросила взоръ на молодаго человѣка: ей хотѣлось улыбнуться, и она, кажется, за-краснѣлась.

Но, можетъ-быть, то былъ лучъ догаравшей зари, который, уловивъ движеніе дѣвушки, страстно прильнулъ къ ней и любовно оцвѣтилъ ея личико своимъ пламенемъ.

Хороша была эта картина изъ трехъ лицъ: морщинистая старушка, румяная дѣвушка, молодой человѣкъ, задумчиво облокотившійся на ручку кресель. . . . Небольшая комната, просто убранная, ситцевыя занавѣски у оконъ съ красною шерстяною бахрамою и ерани на окнахъ. Въ этой комнатѣ все дышало спокойствіемъ и счастьемъ, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не вѣдаютъ люди, живущіе въ огромныхъ золоченыхъ палатахъ.

— Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Ужь скоро совсѣмь смеркнется.

«Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слепеться».

И, говоря это, старушка вкладывала свои очки въ красный, потемнѣвшій отъ времени футляръ.

— И тебѣ пора бросить свое шитье: ты и безъ того у меня сегодня глазъ не спу- скала съ иглки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулокъ, Лизанька.

Дѣвушка поцѣловала руку старушки, встала съ скамейки, подошла къ столу, взяла чулокъ, который вязала она, положила его въ желтую плетеную корзиночку, и вышла изъ комнаты.

— Ахъ, ты моя красавица! — шептала старушка, провожая Лизу глазами.

Лиза была точно чрезвычайно мила съ своими воздушными локонами, съ своею тонкою талиєю. Къ ней очень шло ея темное, ситцевое платье, ея чернѣй кушачекъ и пестрый передничекъ съ карманами по бокамъ.

— Вотъ, мой родной, — продолжала старушка, когда Лиза вышла изъ комнаты, —

въ этой дѣвушкѣ Господь Богъ послалъ мнѣ настоящаго ангела. Ну, что бы я была безъ нея на старости лѣтъ? Ужь подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила-бы меня больше ея. Вотъ, около Покрова будетъ 15 лѣтъ, какъ она при мнѣ, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть разъ чѣмъ огорчила меня, даже когда была еще ребенкомъ. Этакон дѣвушки и днемъ съ огнемъ поискать. А какая рукодѣльница! не даромъ молилась я объ ней Угоднику Божию Николаю Чудотворцу! — Вотъ, хоть бы и ты, мнѣ родной племянничекъ по отцу, да ужь любить меня такъ не можешь, какъ она.

— Какъ мнѣ васъ не любить, тетунка? у меня не осталось ничего кромѣ васъ..... А вы ходите когда-нибудь съ Лизаветой Михайловной въ театръ? Я думаю, въ Петербургѣ чудесный театръ, тетунка?

— Вотъ у него, сударь, что на умѣ: театры да променады... Ужь никакъ тебя, мой батюшка, Петербургъ-то совсѣмъ съ ума свель. А?

И въ-самомъ-дѣлѣ, Петербургъ почти свель съ ума молодого человѣка. Да и какъ

не сойти съ ума отъ Петербурга тому, кто не видалъ ничего краше, не воображалъ ничего совершеннѣе своего губернскаго города?

Зданіе К*** Университета было для него идеаломъ великолѣпія. Онъ часто останавливался передъ этимъ зданіемъ, и дивился его огромности, потому-что до четырнадцати-лѣтняго своего возраста, онъ ничего не видѣлъ кромѣ избъ, крытыхъ соломою, да полуразвалиннаго барскаго дома, обнесеннаго плетнемъ, да воротъ, на которыхъ нѣкогда была нарисована домашнимъ геніемъ какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями....

И послѣ всего этого очутиться въ Петербургѣ и, какъ-будто нарочно, въ ту минуту, когда онъ, сбросивъ съ себя снѣговой саванъ, обновленный лучами весенняго солнца, блеститъ и щеголетъ, и, впервые послѣ пяти-мѣсячнаго усыпленія, самодовольно смотритъ въ свое чудное зеркало въ гранитной рамѣ.... Согласитесь, что тутъ есть отъ чего сойти съ ума молодому провинціалу!

Долго ходилъ онъ, разишувъ ротъ, по Невскому-Проспекту, въ этомъ созерцательномъ восторгѣ, который не можетъ быть понятенъ намъ, вѣчнымъ и равнодушнымъ Петербургскимъ жителямъ. — Мимо его проходили разнаго рода Петербургскіе франты, и тѣ, которые смотрятъ на все, вытаращивъ глаза, и тѣ, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его съ ногъ до головы съ какою-то презрительною жалостью, а онъ не замѣчалъ этихъ господъ, и не подозрѣвалъ, что доставляетъ собою такой прекрасный предметъ для ихъ остротъ, которыхъ ожидаетъ награда и въ *лёгонькихъ* гостинныхъ и въ великолѣпныхъ *салонахъ*: въ первыхъ хохотъ отъ души, въ послѣднихъ — едва замѣтная улыбка.

Онъ былъ такъ счастливъ! Въ эти первые дни своего пріѣзда онъ жилъ не въ Петербургѣ, совсѣмъ нѣтъ: онъ созидалъ свой міръ, міръ фантастическій, идеаль жизни небывалой; онъ населялъ Петербургскія громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которыя только могутъ зародиться въ головѣ двадцати-

лѣтняго юноши. И если-бы можно было уловить всѣ эти туманные образы его разгоряченнаго воображенія, если-бы можно было передать словами всѣ эти мечты, которыя неопредѣленно, какъ Китайскія тѣни, проходили въ головѣ его, тогда-бы, можетъ-быть, вы яснѣе поняли, какъ легко, какъ незамѣтно переходитъ человѣкъ за роковую черту, которая отдѣляетъ его отъ безумія. И не была-ли права тетушка, называя его *сумасшедшимъ*?

Тетушка очень любила его, и, между-тѣмъ-какъ онъ рыскалъ по Петербургу, она, сидя подъ окномъ, въ своихъ кожаныхъ креслахъ и перебирала спичками, думала, какъ бы поскорѣй пристроить его на службу.

— Вѣтреникъ, вѣтреникъ! говорила она по обыкновенію, когда онъ опаздывалъ къ ея обѣду или къ чаю, а это случалось очень часто.

— Молодо-зелено! Заглазѣлся.... Лизашка, посмотри не идетъ-ли онъ?

И Лизашка, по обыкновенію, отворяла окно, и очень пристально смотрѣла на улицу.

«Нѣтъ-съ, не видать, маменька.»

И старушка, по обыкновенію, прибавляла: экой пострѣль! —

Надобно замѣтить, что съ пріѣзда племянника, въ домѣ тетушки произошли величайшія перемѣны. Комнатка, или, вѣрнѣе, чуланъ, въ которомъ лѣтъ двѣнадцать сряду хранился гардеробъ ея, отдана была молодому человѣку. Всѣ эти платья, развѣшанныя въ строгомъ систематическомъ порядкѣ, съ вѣнчальнаго до погребальнаго, въ которомъ она, безутѣшная, шла на Волково, за гробомъ своего супруга, — перенесены были за перегородку, находившуюся въ ея спальнѣ. Два стула, съ перекладными назади, стоявшіе въ симметриі по угламъ гостиной, были отданы племяннику. — Тетушка никакъ не могла привыкнуть къ такимъ переворотамъ въ ея домѣ, и часто говаривала:

— А — что-это, Лизашка, какъ-будто чего-то недостаетъ здѣсь?

— Двухъ стульевъ, маменька, которые перенесены въ комнату Ивана Александровича.

— Да, да! точно двухъ стульевъ.

Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посерживаться за то, что Иванушка не возвращался во-время къ обѣду, что онъ, вмѣсто часу, являлся иногда въ половинѣ втораго. Ужь это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, Богъ знаетъ почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нея было такое доброе сердце!), — и вотъ она начала придумывать, какъ-бы отвести отъ него гнѣвъ тетушки.

Вдругъ ей пришла мысль, но она такъ покраснѣлась отъ этой мысли..... Боже мой! Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого-же? свою благодѣтельница, свою мать!.....

— Пѣтъ, пѣтъ, я ни за что на свѣтѣ не рѣшусь обмануть ее! — Такъ думала она, остановившись въ гостиной передъ часами, которые висѣли на стѣнѣ.

— Пѣтъ, пѣтъ! — и, въ раздумьи, она взялась за веревку, на которой висѣла гиря, и вертѣла въ рукахъ эту веревку; потомъ вдругъ, мигомъ вспрыгнула на стулъ..... рука ея дрожала.... она перевела назадъ стрѣлку.

Сердце ея сильно билось въ этотъ вечеръ; и съ этого вечера Иванъ Александровичъ сталъ всегда являться во-время къ обѣду.

Однако старушкѣ казалось это что-то подозрительно. Желудокъ ея вѣрише часовой стрѣлки доносилъ ей объ обѣденномъ часѣ.

— А что, который часъ, Лизанька? спрашивала она.

— Еще только четверть перваго, мамешка, — отвѣчала та, потушивъ глазки.

— Страшно! Отчего-же мнѣ такъ ѣсть хочется?

— Извольте посмотрѣть на часы, мамешка. . . .

Старушка прикладывала руку ко лбу; морщилась, смотрѣла на часы и повторяла:

— Да, четверть перваго. Страшно!

Но кромѣ всѣхъ означенныхъ выше переменъ, произведенныхъ въ этомъ почтенномъ домѣ прїездомъ молодаго человека, произошла еще одна — и очень важная. Елизавета Михайловна отъ природы характера веселаго и смѣшливаго, стала очень задумываться, чаще блѣднѣть и краснѣть, а иногда даже вздыхать. Ея шюлка, когда она сидѣла за пальцами, останавливалась

въ рукѣ и долго, долго была неподвижна. Говорятъ даже, когда въ комнатѣ никого не было, она загадывала о чемъ-то: закрывала глаза, вертѣла руками по воздуху и соединяла потомъ два указательные пальца. А впоследствии измѣнила этотъ способъ гаданья на другой: только что подѣ руку попадалась ей какаля-нибудь астра, она сейчасъ оцѣпывала листки и приговаривала: *любитъ, не любитъ*, точно-какъ Гётева Маргарита.

Чтобы подмѣтить, какъ измѣнялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотрѣть на нее въ ту минуту, когда въ комнату входилъ Иванъ Александровичъ. Боже мой! какъ начинало биться тогда ея сердце, какъ она жестоко кусала свои пушцовыя губки!

Но длячего-же скрывать? Она мечтала о немъ еще гораздо прежде его прїезда. Ей такъ много наговорила объ немъ старушка-маменька, что онъ и ученый-то, и умный-то, и хорошенькій-то. И она точно пашла его и ученымъ, и умнымъ, и хорошенькимъ. Ну, какъ можно было сравнить его съ этимъ чиновникомъ, съ которымъ она танцевала

прошлаго года, когда мамешка возила ее въ 14-ю линію на *балокъ* къ своей старой пріятельницѣ, одной Коллежской Совѣтницѣ? Этотъ чиновникъ только и говорилъ съ ней о томъ, какъ занемогъ у нихъ однажды Начальникъ Отдѣленія, и какъ онъ ходилъ къ нему на домъ, и какъ онъ подчивалъ его чаемъ, да еще о томъ, какъ онъ усталъ танцовавши въ танц-клубѣ мазурку. Что жъ это за разговоръ? Правда, съ ней говорилъ тамъ и другой чиновникъ, и говорилъ о Литературѣ.

Онъ подошелъ къ ней и спросилъ:

— Видѣли-ли вы на театрѣ Роберта-Дьявола-съ?

Она покраснѣла и отвѣчала: «Нѣтъ-съ.»

— А прекрасная пьеса!

Потомъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, онъ опять спросилъ ее:

— Ну, а смотрѣли-ли вы Михаила Скопина Шуйскаго-съ?

Она снова покраснѣла и отвѣчала: «Нѣтъ-съ.»

— А эта пьеса еще лучше Роберта-Дьявола-съ.

И этотъ разговоръ ей не нравился: во-первыхъ, онъ заставилъ ее краснѣть, по-

тому-что она никогда не бывала въ театрѣ; во-вторыхъ, этотъ господинъ говорилъ такимъ грубымъ, неприятнымъ голосомъ. А голосъ Ивана Александровича — о, это настоящая музыка! Ктому-же Иванъ Александровичъ человекъ *ученый*, онъ кончилъ курсъ въ Университетѣ! Иванъ Александровичъ говоритъ такъ красиво: въ его языкѣ всегда столько души. Когда онъ рассказываетъ что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какія восторженныя движенія! Да, что ни говорите, а каждое слово его идетъ отъ души и въ душу!

Такъ думала Елизавета Михайловна, и любовь незамѣтно обвивалась около ея сердца, какъ незамѣтно повилка обвивается около тонкаго стебля молодого дерева. И скоро всѣ фантази этой дѣвушки стали разыгрываться на одну тему: Иванъ Александровичъ. Онъ всегда былъ передъ нею — и днемъ въ мечтѣ, и ночью въ грѣзѣ; онъ повсюду преслѣдовалъ ее — и въ часы заботъ по хозяйству, и въ часы отдыха. Онъ ходилъ съ нею на рынокъ и на гулянье. . . . Она начала покупать всѣ припасы дороже прежняго, и добрая старушка покачивала головою.

— Эхъ, эхъ, Лизанька, — обыкновенно говорила она, — вѣдь надо торговаться, дружокъ! Оши, мошешники, ради брать лишнее.

« Я торгуюсь, маменька. »

— То-то, голубчикъ.

Она хотѣла молиться, она стояла передъ образомъ Спасителя, но молитва была на устахъ, а въ сердцѣ не было молитвы; она видѣла какъ другіе возлѣ нея со слезами клали земные поклоны передъ этимъ образомъ.... Да!... и она, стоя на этомъ-же самомъ мѣстѣ, и только мѣсяць назадъ тому молилась также усердно!

— Отчего онъ не идетъ? Онъ хотѣлъ притти въ церковь. Гдѣ же онъ теперь? Ахъ, если-бы хотъ маменька помолилась за меня! О, ея молитва скорѣе бы дошла до Бога!...

Недѣля за недѣлей уходила, и Лизанька съ каждымъ днемъ открывала какія-нибудь новыя достоинства въ Иванѣ Александровичѣ. 21-го Мая его рожденье. Къ этому дню она готовила для него подарокъ — коншелекъ своей работы. Она заранѣе мечтала, какъ она будетъ поздравлять его, и заранѣе краснѣла при этой мечтѣ.

Между-тѣмъ, много произошло переменъ и въ Иванъ Александровичъ: его восторгъ мало-по-малу утихнулъ; онъ часто сидѣлъ повѣся голову, не отвѣчалъ на вопросы тетушки, безцѣльно сидѣлъ у окна, глазѣлъ на проходящихъ, хмурилъ брови и грызъ ногти.

— Извольте видѣть, чѣмъ занимается, — говорила тетушка, глядя на него, — ноготки себѣ погрызываетъ. Чему-же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что отъ этого ноготѣда на палецѣ сдѣлается?

Онъ не слышалъ благоразумнаго замѣчанія старушки; мысли его заняты были чѣмъ-то очень важнымъ.

Въ эту минуту, мимо окна проходилъ молодой человекъ чрезвычайно красивой наружности и вмѣстѣ съ этимъ удивительный щеголь: въ коротенькомъ сюртукѣ самага толкаго сукна, съ палкою въ рукѣ, съ шляпою на ухо...

Иванъ Александровичъ пристально посмотрѣлъ на него и долго провожалъ его глазами, потомъ со вздохомъ взглянулъ на свой длинный сюртукъ, и еще больше прежняго задумался.

II.

«Бывало, мать давнымъ давно хранила,
А дочка на луну еще смотрѣла.»

Пушкинъ.

Вечеръ. Небо блѣднѣетъ и ровный цвѣтъ лазури смѣняется переливами перломутра; вотъ протянулась розовая лента на закатѣ: она изъ чуднаго пояса радуги; вотъ за нею другая — темнѣе, а тамъ багроваго цвѣта, а тамъ ослѣпительное золото, и наконецъ далѣе огонь — и на этомъ великолѣпномъ заревѣ заходящаго солнца черная тѣнь колокольни и куполы церкви *Николы-Мокраго*.

Нева не шелохнется въ своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчею. . . .

Дивная, нерукотворная картина!

Что огни вашихъ роскошныхъ праздниковъ передъ этимъ небеснымъ огнемъ? Что блескъ вашей позолоты передъ этимъ Божьимъ золотомъ? Что ваши убранства передъ этимъ петлѣнымъ убранствомъ?

Иванъ Александровичъ заглядѣлся на небо, на Неву и на каменные громады береговъ ея.

— Вотъ ужь, кажется, я и привыкъ къ Петербургу, думалъ онъ, а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы. . . .

— Къ этой картинѣ нельзя привыкнуть: право, чѣмъ долѣ смотришь, тѣмъ больше хочется смотрѣть, — кто-то проговорилъ тоненькимъ голосомъ возлѣ него.

Это былъ отвѣтъ на мысль его. Онъ вздрогнулъ и обернулся въ сторону. Передъ нимъ была дама въ желтой соломенной шляпкѣ съ пунцовымъ цвѣткомъ и въ длинной черной шали. . . . Онъ посмотрѣлъ ей въ лицо: просто, красавица.

Она разговаривала съ человѣкомъ очень высокаго роста, въ плащѣ съ длинными кистями, изъ-за котораго выказывался фракъ какого-то особеннаго покроя, галстухъ съ огромнымъ бантомъ, пестрый жилетъ съ голубыми атласными отворотами и по немъ массивная золотая цѣпь, къ которой прикрѣпленъ былъ золотой лорнетъ съ разноцвѣтными камнями. Онъ прищуривался, поправлялъ свои виски, помахивалъ лорнетомъ, потомъ съ необыкновеннымъ искусствомъ, съ удивительною граціею, представилъ его къ глазу, посмотрѣлъ на воду

и, обратясь къ дамѣ, произнесъ сквозь зубы:

— Въ-самомъ-дѣлѣ, безподобный видъ!

Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и онъ не спускалъ съ нея глазъ.

Постоявъ немного, дама продолжала прогулку съ своимъ кавалеромъ, который, какъ уже замѣтили читатели, принадлежалъ къ тому разряду *франтовъ*, встрѣчая которыхъ какъ-то невольно хочется воскликнуть: *пощадите!* За ними шель лакей въ синей ливрѣ съ желтымъ воротникомъ и въ трехъ-угольной шляпѣ съ золотымъ галуномъ, вѣроятно, принадлежавшей его предмѣстнику, потому-что эта шляпа была ему не совсѣмъ въ-пору и почти закрывала глаза; онъ время-отъ-времени вытаскивалъ изъ кармана орѣхи, грызъ ихъ и оставлялъ за собою такимъ-образомъ дорожку изъ скорлупы.

— Вѣрно, это не простая дама, подумалъ Иванъ Александровичъ, идя вслѣдъ за нею.

— Какая у нея важная поступь! Какъ она прекрасно одѣта, съ какимъ вкусомъ!... А ножка-то! просто игрушка, да и какъ обута... чудо!

Признаться, Иванъ Александровичъ сталъ немножко завидовать ея кавалеру. Да и нельзя было не завидовать!

Завидуя и мечтая, и любуясь незнакомкою, онъ незамѣтно очутился—въ Коломнѣ. Дама и кавалеръ ея и лакей, который уже уничтожилъ весь запасъ орѣховъ, потому что шелъ спокойно, скоро остановились у подъѣзда одного небольшого каменнаго дома. Кавалеръ очень искусно, точно танцуя мазурку, первый подлетѣлъ къ двери подъѣзда, съ неподражаемою ловкостью дернулъ за ручку колокольчика, — отъ этого движенія цѣпь лорнета его раскачалась и стекло лорнета ударилось о мѣдную ручку замка, разлетѣвшись въ дребезги. За всю эту эффектную сцену онъ награжденъ былъ восклицаніемъ «Ахъ!» и пріятною улыбкою своей спутницы.

Дверь отворилась и захлопнулась: всѣ трое исчезли.

Иванъ Александровичъ неподвижно остался у двери.

Возвратясь домой, онъ сдѣлался еще скучнѣе и разсѣяннѣе прежняго.

Это не могло ускользнуть отъ вниманія Елизаветы Михайловны, и она, робко потупивъ головку, произнесла едва слышно:

— Вы не веселы, Иванъ Александровичъ?

«Еще нѣтъ десяти часовъ» отвѣчалъ онъ, не слыша ея вопроса.

— Нѣтъ-съ еще. А маменька спрашивала объ васъ.

Потомъ черезъ минуту молчанія, съ тою же робостію, также тихо спросила:

— А вы принесли мнѣ книжки, которыя обѣщали, Иванъ Александровичъ?

«Книжки? Ахъ, да... да; и онъ вынулъ изъ неизмѣримаго кармана своего сюртука двѣ тоненькія книжечки, всѣ истертыя и засаленныя, вѣрно изъ какой-нибудь Библіотеки для чтенія.

— Какъ я рада!

Елизавета Михайловна прыгнула отъ радости, и исчезла.

— Онъ не забылъ моей просьбы — думала она.

Далеко за полночь сидѣла она у окна своей комнатки съ книгою въ рукахъ, и сонъ не тягчилъ ея вѣкъ... и сердце замирало и билось. Наконецъ она опустила книгу на

колѣна, по уста ея еще повторяли эти очаровательные звуки, эти звуки, отъ которыхъ билось и замирало ея сердце, которые мѣшали ей спать:

«Я услаждала-бъ жребій твой
Заботой нѣжной и покорной;
И стерегла-бъ минуты сна,
Покой тоскующаго друга...»

Ея развившіяся кудри упали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздоховъ, дышала сильно и часто.

— Нѣтъ, онъ меня не любитъ, не любитъ — и слезы начали проступать на рѣсницахъ бѣдной дѣвушки и отяжелѣвшая голова ея скатилась на оконницу и вся утонула въ кудряхъ.

Въ эту минуту не спалъ и Иванъ Александровичъ: онъ, лежа на постели, мечталъ о своей незнакомкѣ, украшалъ ее поэтическими цвѣтками своего воображенія, сравнивалъ съ Теклою Шиллера, съ Маргаритою Гёте, съ Юліей Шекспира, съ Татьяною Пушкина и, Богъ знаетъ, съ кѣмъ еще...

Онъ мечталъ, какъ познакомится съ нею, какъ въ первый разъ явится къ ней...

Бѣдная Елизавета Михайловна! Въ этихъ

роскошныхъ мечтахъ онъ вовсе забылъ о ея существованіи.

На другое утро, подкладывая транспарантъ подъ форменную бумагу, для переписки какого-то отношенія, Иванъ Александровичъ искоса поглядывалъ на своего Столоначальника, потому-что ему не хотѣлось ничего дѣлать, рѣшительно ничего, а вотъ такъ, сидѣть сложа руки, да мечтать о вчерашней дамѣ... Здѣсь кстати замѣтить, что онъ уже за двѣ недѣли до этого, опредѣлился въ Департаментъ, по протекціи одного Начальника Отдѣленія, Евграфа Матвѣевича..... какъ-бишь его фамилія? Такъ на языкѣ и вертится..... Нѣтъ, забылъ. Ну, да все равно.... Евграфъ Матвѣевичъ былъ задушевный пріятель супруга тетушки Ивана Александровича, и по просьбѣ ея помѣстилъ молодаго человѣка до перваго случая на четырехъ-сотъ-рублевую вакансію.

... Такъ Иванъ Александровичъ подложилъ транспарантъ подъ бумагу, очинилъ перо и уже нарисовалъ первую букву *В*, но въ эту самую минуту кто-то схватилъ его за руку.

— А, мое почтеніе, Федоръ Егоровичъ.

Федоръ Егоровичъ былъ помощникъ столоначальника, молодой человекъ очень пріятной наружности, съ прекрасно-вчесаннымъ хохломъ, при золотыхъ, настольныхъ часахъ, а не то чтобы съ серебряною дощечкой сзади, ловкій въ обращеніи и, вообще, какъ говорятъ, «славный мальшъ.» — Онъ былъ аристократомъ въ своемъ отдѣленіи, потому что имѣлъ собственныя дрожки и лошадь; вслѣдствіе чего иногда позволялъ себѣ маленькія вольности, какъ-то: пріѣзжать четвертью часа позже обыкновеннаго, и пр. А это уже не шутка! Всѣ мелкіе чиновники смотрѣли на него съ особеннымъ почтеньемъ, нѣкоторые съ маленькою досадою и завистью.

Разъ, одинъ изъ его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошелъ къ нему и, указавъ пальцемъ на цѣпочку, которая красовалась на его жилетѣ, спросилъ:

«А что, это семплёровая-съ?»

Федоръ Егоровичъ посмотрѣлъ на вопрошающаго очень гордо, и не-хотя отвѣчалъ:

— Золотая.

«Настоящая-съ?»

— Да.

«Извольте видѣть. — А что, я думаю, вещь-то цѣнная? Сколько заплатить изволили?»
— Полтораста рублей.

«Гмь.»

При этомъ гмъ, онъ вытащилъ изъ кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнулъ по крышкѣ, повернулъ ее, со скрипомъ отворилъ табакерку и поднесъ къ Федору Егоровичу. Въ табакѣ лежали три жасминовые цвѣтка.

«Не угодно-ли? У меня *бергамотовый-съ.*»

Федоръ Егоровичъ небрежно понюхалъ.

Вишь какой фертикъ, подумалъ этотъ чиновникъ, 150 р. цѣпочки изводитъ себѣ ежедневно носить!

Послѣ этого разговора, Федоръ Егоровичъ получилъ еще большій вѣсъ въ своемъ отдѣленіи, а слухи о немъ и богатствѣ его начали даже распространяться по всему Департаменту.

Федоръ Егоровичъ сошелся тотчасъ съ Иваномъ Александровичемъ, узнавъ, что онъ кончилъ курсъ въ Университетѣ; и не мудрено: онъ очень любилъ разсуждать о разныхъ ученыхъ предметахъ, это была его страсть. На вечерахъ и балахъ, въ своемъ

кругу, онъ слылъ *умницею*, и даже очень *солидные* люди отзывались о немъ съ величайшею похвалою. Когда рѣчь заходила объ немъ, они, по обыкновенію, нахмуривъ брови, произносили довольно протяжно: «Фу! какая голова! что ни говорите, а онъ пойдетъ далеко!» — Въ случаѣ, если между дамами возникалъ какой-нибудь литературный споръ, то слабая сторона спорящихъ всегда почти посылала за шимъ: «гдѣ Федоръ Егоровичъ? Федоръ Егоровичъ рѣшитъ, онъ такой начитанный!» И Федоръ Егоровичъ, являясь, торжественно рѣшалъ споръ.

Онъ-то подошелъ къ Ивану Александровичу и взялъ его за руку, въ ту самую минуту, когда тотъ призадумался надъ буквою *В*.

— Какъ поживаете, Иванъ Александровичъ; что новенькаго? А?

«Вамъ лучше знать новости, Федоръ Егоровичъ, вы въ свѣтѣ.»

При этомъ, Федоръ Егоровичъ, очень довольный, улыбнулся.

— Да, оно конечно; но все это такъ надоело! Ну, что такое свѣтъ, ровно ничего, ей-Богу! Пѣтъ, этакъ, главнаго —

пищи для души, а остальное — птф. . . .
Признаюсь, давно мнѣ хочется заняться
чѣмъ-нибудь существеннымъ, литературою,
напримѣръ, написать что-нибудь: все-таки
составивъ себѣ имя, ознакомившись со всѣ-
ми учеными. Ктому же, я чувствую въ
себѣ способность сочинять. Вотъ если я
увиджу, напримѣръ, цвѣтокъ, или что-ни-
будь-такое, то у меня сейчасъ и восста-
няется воображеніе.

Произнося это, Федоръ Егоровичъ по-
правилъ галстухъ и сталъ обдергивать свою
черную атласную манишку со складочками,
на которой свѣтились три запонки изъ
мнимыхъ брилліантовъ.

«Послушайте, Федоръ Егоровичъ,» ска-
залъ Иванъ Александровичъ послѣ нѣсколь-
кихъ минутъ молчанія, отводя своего но-
ваго пріятеля въ амбразуру окна: «мнѣ
хочется кое-что спросить у васъ, вы въ
Петербургѣ всѣхъ знаете, вамъ должно
быть это извѣстно.»

Иванъ Александровичъ говорилъ вполго-
лоса и нарочно удалился отъ стола, испы-
тавъ въ короткое время, до какой степени
нѣкоторые изъ его товарищей одарены

преступною страстію любопытства. Онъ зналъ, что для этихъ господъ ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ подслушать чужой *секретъ*.

Федоръ Егоровичъ, заложивъ руки въ боковые карманы, нахмурилъ брови и сдѣлалъ легкое движеніе губами, въ знакъ вниманія.

Иванъ Александровичъ разсказалъ ему о своей встрѣчѣ съ дамою, о томъ, какъ онъ слѣдовалъ за нею; описалъ ея кавалера, ея шврею, все до малѣйшей подробности.

Лице Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Онъ уже поднялъ вверхъ брови.

Иванъ Александровичъ продолжалъ:

«Недоходя Покрова, она, знаете, и повернула на-лѣво, въ Усачевъ-Переулокъ, я за нею; перейди улицу, она остановилась у подъѣзда на-право кажется, четвертый домъ отъ угла. . . .»

Въ эту минуту Федоръ Егоровичъ схватилъ съ величайшимъ восторгомъ руку своего пріятеля и, въ пылу самозабвенія, закричалъ:

— Ну, такъ и есть. Она, она!

Надобно было посмотрѣть на физиогномію Ивана Александровича, пораженнаго та-

кимъ печальнымъ и такимъ скорымъ открытiемъ.

«Можетъ-ли быть? такъ вы, вы ее знаете.... знаете?»

Онъ ничего не могъ произнести болѣе.

Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вамъ сказать, что я у нихъ на *короткой ногѣ* въ домъ; совершенно *свой*. Не былъ день, два, — такъ сейчасъ посоль: что-дескать давно не были? откушать просятъ.... Знакомъ-ли я?

«Да кто-жь она такая, Федоръ Егоровичъ?»

— Извѣстная въ Петербургѣ дама, на всѣхъ балахъ бываешь.... И какая начитанная; я съ ней всегда мазурку танцую.

«А какъ ея фамилія?»

— Марья Владиміровна Болотова.

Какое прекрасное имя! подумалъ Иванъ Александровичъ.

«А что, она замужемъ?»

— Нѣтъ; вотъ года четыре какъ овдовѣла.

У Ивана Александровича на лицѣ выступила краска.

— Не хотите-ли, я васъ познакомлю съ нею?

Познакомлю!.... Неужели въ-самомъ-

дѣль?—Иванъ Александровичъ ужасно какъ смѣшался.

—Что-жь, хотите, Иванъ Александровичъ? Вы вѣдь еще не выѣзжали въ свѣтъ, а тутъ вы съ перваго раза ознакомитесь со всѣмъ лучшимъ обществомъ. Хотите-ль? Правду сказать, свѣтъ придастъ - этакъ челоуѣку полировку. И при этомъ словѣ Федоръ Егоровичъ съ самодовольною гримасою посмотрѣлъ на себя, и началъ небрежно вертѣть цѣпочкой, на которой висѣлъ ключикъ отъ часовъ.

—Что, ѣдемъ?

«Очень радъ-съ,» произнесъ Иванъ Александровичъ, очнувшись.

—Прекрасно! Когда же, послѣ-завтра? У Марьи Владиміровны по Вторишкамъ дни.

Иванъ Александровичъ опять призадумался.

«Нельзя ли ужъ на слѣдующей недѣль?»

Тѣмъ временемъ, думалъ онъ, я сошью себѣ фракъ. Вѣдь нельзя же явиться къ такой богатой дамѣ, не имѣя моднаго фрака.

—Такъ въ слѣдующій Вторишкъ? О, да мы тамъ будемъ веселиться, за это я вамъ ручаюсь.

Грустно было Ивану Александровичу, очень грустно! Фракъ, по меньшей мѣрѣ, стоитъ 120 руб., онъ справился объ этомъ у одного портнаго, который жилъ на Невскомъ. — На Невскомъ всегда самыя лучшя портшыя, онъ это давно зналъ. Откуда-же взять ему вдругъ 120 руб.? Изъ деревни его должны были прислать ему въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1000 руб. — годовой доходъ; но до Октябрю еще сколько времени! Занять? Но у кого? У Ѳедора Егоровича? Ни за что на свѣтѣ! Иванъ Александровичъ не хотѣлъ одолжаться никому. У тетушки? тетушка не дастъ, да еще разбранить, назоветъ мотомъ, будетъ читать цѣлую недѣлю наставленіе о томъ, какъ долженъ вести себя молодой человѣкъ, какъ велъ себя въ молодя лѣта ея покойникъ, что надо по *одѣжкѣ протягивать ножки*, и проч. и проч. — Онъ зналъ все это заранѣе. Что-же прикажете дѣлать? Иванъ Александровичъ былъ въ совершенномъ отчаяніи. Онъ не ѣлъ и не пилъ.

Однажды послѣ обѣда, тетушка вздремнула, а онъ открылъ машинально какую-то книгу. Вальтеръ-Скоттъ! А это его лю-

бимый авторъ, давно онъ не заглядывалъ въ Вальтеръ - Скотта, а бывало - онъ не разлучался съ нимъ. Онъ вспомнилъ свои студенческіе годы, то блаженное время, когда онъ былъ такъ беззаботно счастливъ, когда въ его завидномъ уединеніи, широко развертывался передъ нимъ міръ поэтической, жизнь кипучей фантазіи; когда его окружали эти дивные образы, эти вдохновенныя созданія великихъ творцевъ; когда онъ страдалъ ихъ бѣдствіями и радовался ихъ радостями, — онъ вспомнилъ все это и хотѣлъ читать. Пѣтъ! Теперь ничто не привлекало его вниманія: ни величественно - неподвижный образъ *Саладина*, ни томносмуглое личико очаровательницы *Рекки*, ни гордо-угловатое лицо *Елисаветы Англійской*. Пѣтъ! передъ глазами его кружился въ самомъ соблазнительномъ видѣ новый фракъ, въ мысляхъ его была сто-рублевая ассигнація. —

Онъ закрылъ книгу и вздохнулъ. — Дверь скрипнула: — въ комнату вошла Елизавета Михайловна.

Она была очень блѣдна; въ чертахъ ея лица выражалось что-то страдальчески-

прекрасное; и вы-бы, взглянувъ на нее въ эту минуту, увидѣли, что она, бѣдная дѣвушка, любила его всею силою души своей, любила просто, какъ любятъ всѣ бѣдныя дѣвушки, безъ подготовленныхъ сценъ, безъ кокетства, безъ этихъ утонченныхъ соблазновъ, которые такъ чудесно избрѣтають сердца, бьющіяся подъ батистомъ и бархатомъ.

Она подошла къ Ивану Александровичу и села возлѣ него. Видно было, что она хотѣла начать говорить, но какъ-будто не рѣшалась, еще какъ-будто собиралась съ духомъ.

Нѣсколько минутъ въ комнатѣ было тихо, лишь слышалось за перегородкой храпѣнье старушки.

Накопецъ, Елизавета Михайловна рѣшилась говорить. Она сказала въ полголоса:

«У васъ что-то есть на сердцѣ, Иванъ Александровичъ; съ нѣкотораго времени вы стали гораздо скушнѣе, гораздо...»

— Это вамъ такъ кажется, — сказалъ онъ, перебирая листы книги.

«О, нѣтъ! Отчего-же вы не хотите быть со мною откровеннѣе? Отчего вамъ скушно,

Иванъ Александровичъ, скажите мнѣ? Я давно собираюсь васъ спросить объ этомъ.

Иванъ Александровичъ посмотрѣлъ на нее Въ ея выраженіи было такъ много убѣдительности, такъ много чистосердечія.

Онъ улыбнулся.

— Ну, право, вамъ такъ показалось, Елизавета Михайловна. Я точно также весель, какъ и въ первые дни моего пріѣзда сюда.

«Богъ съ вами! видно я не заслужила вашей довѣренности.»

И огорченная, она непритворно вздохнула.

Ивану Александровичу стало жаль ея. Онъ подумалъ: какая добрая дѣвушка! — Вы не можете помочь моему горю, — сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія.

«А почему знать?»

— Видите - ли, Елизавета Михайловна, коли сказать вамъ правду: мнѣ нужны деньги — и скоро, а это очень беспокоитъ меня. Вы знаете, что у тетушки нельзя просить. . . .

«Видно, кошелекъ, что я вамъ подарила, несчастливъ? А сколько вамъ нужно денегъ?»

— Рублей сто.

«Только? И вы будете веселы, если достанете эти деньги?»

— Да откуда достать ихъ, Елизавета Михайловна?

Лицо Елизаветы Михайловны вдругъ просвѣтлѣло; она вспорхнула со стула, исчезла — и, черезъ минуту, снова явилась.

«Я принесла вамъ деньги, Иванъ Александровичъ.»

— Какъ, деньги? Откуда? Что это значитъ?

«Вы теперь будете веселы, не правда-ли?»

Иванъ Александровичъ остолебѣлъ отъ удивленія, и не могъ ничего вымолвить.

«Это мои собственныя деньги. Я семь лѣтъ копила маменькины подарки: тутъ, я думаю, будетъ больше ста рублей. Я хотѣла сдѣлать салопъ... теперь мнѣ не нуженъ салопъ,» и она протянула руку, чтобъ отдать ему кошелекъ, и вся вспыхнула.

— Нѣтъ, я не возьму эти деньги, Елизавета Михайловна, ни за что на свѣтѣ не возьму. Вы семь лѣтъ копили ихъ, вамъ самой нужны онѣ, а я не могу вамъ отдать ихъ прежде Октября мѣсяца.... Нѣтъ, не возьму, ни за что на свѣтѣ не возьму! —

Дѣвушка посмотрѣла на него съ удивленіемъ; рука, державшая кошелекъ, медленно опустилась, глаза ея затуманились минута . . . и слезы, горькія слезы вырвались на волю, и грудь ея заколыхалась волною.

«Такъ вы не хотите отъ меня ничего взять?» произнесла она невинно, заливаясь и всхлипывая: «за что же вы меня такъ не любите?»

Иванъ Александровичъ не зналъ, что ему дѣлать. Онъ самъ чуть не заплакалъ. — Думалъ ли я васъ огорчить этимъ? Клянусь Богомъ, нѣтъ! — Онъ взялъ кошелекъ изъ руки ея и поцѣловалъ руку: — вы настоящій ангелъ, Елизавета Михайловна! —

И она отирала слезы платкомъ, и улыбалась сквозь слезы.

«Такъ вы берете мои деньги? Ахъ, какъ я счастлива! Вы теперь будете веселы, Иванъ Александровичъ, не правда-ли? — Тише!» она приложила пальчикъ къ губамъ: «маленька просыпается, я побѣгу къ ней.»

Весь вечеръ она была необыкновенно весела. Радость вырывалась въ каждомъ ея движеніи, въ каждомъ взглядѣ, и старушка, приглаживая ея локоны, говорила:

— Вотъ ты у меня сегодня умница,
Лизанька.

III.

«Разбирая различныя явленія міра внутренняго, идеальность примѣчаетъ, что онѣ двухъ родовъ: одніе произведенія самаго духа, а другіе пріемлются нами извнѣ. Сіи раздѣляются на два класса: на ощущенія пріятныя и непріятныя, и идеи или образы пространства, формъ и цѣлостей. Вотъ все, что мы знаемъ о внѣшнемъ и слѣдственно о веществѣ. Но всѣ сіи ощущенія или образы суть только явленія въ насъ, точно такъ-же, какъ наши мысли, воспоминанія.»

Изъ лекцій логики.

Желанный Вторникъ наступилъ. Съ пятого часа вечера, Иванъ Александровичъ началъ дѣлать приготовленія къ туалету. У него былъ новый фракъ, чудесный, *цѣлта Аделаиды*, съ чѣрнымъ бархатнымъ воротникомъ, съ блестящими и узорчатыми пуговицами. Этотъ фракъ былъ торжественно развѣшенъ на креслѣ, и Иванъ Александровичъ ходилъ кругомъ кресла и любовался имъ. Какой отливъ-то, прелесть! Краснолиловый, и сукно самое тонкое по двадцати пяти рублей аршинъ. Чудесный фракъ!



А жилеть? Портной сказалъ Ивану Александровичу, что къ новому фракъу необходимъ и новый жилеть, иначе не будетъ гармоніи въ цѣломъ. И посмотрите, что за жилеть! По черной землѣ цвѣточки зелененькіе, красненькіе, желтенькіе, и все это сплетено голубенькими стебельками. Иванъ Александровичъ взялъ въ руку жилеть и поворачивалъ его. Заглядѣнье, просто заглядѣнье!

Съ самаго утра, на постели Ивана Александровича лежала отлично выглаженная машинка, совсѣмъ готовая, съ запонками, — на средней запонкѣ былъ очень искусно изображенъ Наполеонъ во весь ростъ, а на остальныхъ двухъ пастушокъ и собачка на веревочкѣ.

Завившись и одѣвшись, Иванъ Александровичъ нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ, нѣсколько разъ посмотрѣлъ въ зеркало съ пріятною улыбкою, и потомъ пошелъ показаться Елизаветѣ Михайловнѣ.

«Какъ къ вамъ идетъ этотъ фракъ, Иванъ Александровичъ.»

Она смотрѣла на него такъ внимательно и такъ отъ души любовалась имъ.

— А каково сшить?

«Очень хорошо. Какая талия! Вамъ сегодня будетъ вѣрно очень весело: вы увидите такихъ прекрасныхъ, нарядныхъ дѣвицъ....»

При этомъ словѣ она задумалась. Бѣдная дѣвушка!

Когда Иванъ Александровичъ подошелъ къ рукѣ тетушки при прощаньи, старушка оглядѣла его съ ногъ до головы, и начала очень серьезно покачивать головою.

«Что это, батюшка, новое на тебѣ платье-то?»

— Да, тетушка, новое.

«Гм.» — Она все продолжала осматривать его.

«А что, оно на тебѣ сшито, или готовое куплено?»

— На меня-съ.

«На тебѣ, сударь? Да это просто Тришкинъ кафтанъ!.. Господи Боже мой! Рукава-то короткіе, узкіе, ну точно Митрофанушка... Застегнешь-ка.

Иванъ Александровичъ сдѣлалъ усиліе, чтобы застегнуться.

«Посмотрите пожалуйста — и застегнуться-то не можетъ.

— Да это шито по модѣ, тетушка.

« По-модѣ? Мошенникъ увѣрилъ его что это по-модѣ, а онъ себѣ и растаять изво-
лнлъ. Ему, бестн выгодно шить по-модѣ! . . .
Что, сукнеца-то, чай, немного пошло?
Ахъ! Ахъ! — То-то, старыхъ людей вѣдь
нынче и слушать не хотятъ. Куда! . . .

Иванъ Александровичъ боялся одного, чтобы тетушка не спросила о цѣнѣ его моднаго фрака, и о томъ, откуда взялъ деньги на этотъ фракъ; но тетушка, къ счастью, не спрашивала объ этомъ и занялась весьма впрочемъ длиннымъ правоученіемъ, какъ онъ долженъ вести себя «въ чужихъ людяхъ».

Потомъ она перекрестила его, и онъ отправился; но старушка долго, очень долго, по уходѣ Ивана Александровича, ворчала, покачивая головою.

Около девяти часовъ вечера, у подъзда одного дома въ Усачевомъ-Переулкѣ, стояли четыре экипажа: двѣ четырехмѣстныхъ кареты парами, одна двухмѣстная и дрожки. Послѣднія принадлежали Федору Егоровичу, это были тѣ самыя дрожки, которыя

привлекали завистливое вниманіе чиновниковъ **... Департамента.

Появленіе Федора Егоровича, сопровождаемаго Иваномъ Александровичемъ, произвело въ гостиной небольшое движеніе.

Три круглолицыя, довольно полныя дѣвушки, сидѣвшія рядомъ по лѣвой сторонѣ дивана, и дѣвъ длиннолицыя, очень худощавыя, стоявшія неподалеку отъ первыхъ, тотчасъ прервали свой разговоръ и занялись разсматриваніемъ новаго лица, стали улыбаться и перешептываться.

Одной изъ худощавыхъ, дѣвицъ лѣтъ за тридцать, Иванъ Александровичъ чрезвычайно понравился. Она нашла, что фізіономія его очень интересна и выразительна. — Другая замѣтила, что онъ немножко неловокъ; третья, что у него слишкомъ широки перчатки; четвертая..... но невозможно передать всѣхъ замѣчаній. Въ десять минутъ Иванъ Александровичъ былъ разобранъ въ подробности. Самой досужей наблюдательности не оставалось подмѣтить въ немъ ничего, рѣшительно ничего.

И между-тѣмъ-какъ онъ, немного смѣшавшись, выслушивалъ привѣтствіе хозяйки

дома и кланялся, и между-тѣмъ-какъ она блистала Русскою любезностью съ примѣсью заученныхъ Французскихъ фразъ, и смотри на него, находила въ чертахъ лица его что-то знакомое — Федоръ Егоровичъ, улыбаясь, расшаркивался съ дѣвщами.

— Кого это вы привезли, Федоръ Егоровичъ?

— Кто это съ вами пріѣхалъ?

— Какъ его фамилія?

Вопросы сыпались на него со всѣхъ сторонъ. Съ ловкостью истинно непостижимою, съ искусствомъ, которое можетъ быть пріобрѣтено только опытомъ, Федоръ Егоровичъ отдѣмался отъ этихъ вопросовъ и удовлетворилъ любопытству каждой изъ вопрошавшихъ. Да, онъ владелъ въ совершенствѣ завиднымъ даромъ *плизать*. Я желалъ-бы показать его вамъ въ гостиной: что-за утонченное обращеніе! Что-за грація въ тѣлодвиженіяхъ, что-за сила рѣчей во взглядѣ! Этотъ взглядъ, казалось, говорилъ той дѣвущкѣ или дамѣ, на которую устремлялся: «страдайте, сударыни, страдайте: мнѣ извѣстны ваши страданья, но для меня это все равно!» (Какой страшный эгоизмъ!)

— Если вы видали въ которомъ-нибудь изъ безчисленныхъ круговъ средняго Петербургскаго общества, молодаго человека съ такимъ побѣдоноснымъ взглядомъ, то нѣтъ никакаго сомнѣнiя — это былъ Федоръ Егоровичъ.

Послѣ всего этого, можно ли удивляться его успѣхамъ въ *лёгонькихъ* гостинныхъ? — Иванъ Александровичъ впервые видѣлъ его въ обществѣ, впервые восхищался его развязностью. . . . Завидный даръ! Онъ, который чувствовалъ себя несловкимъ и стоя и сядя, и молча и разговаривая, онъ вполнѣ постигалъ, какъ важно быть надѣлену такимъ талантомъ.

Мало-по-малу гостиная стала наполняться. Прiѣхало еще нѣсколько матушекъ довольно толстыхъ въ вычурныхъ чепцахъ, съ тоненькими дочками въ бѣленькихъ, въ красненькихъ и въ пестренькихъ платицахъ; прiѣхалъ тотъ самый Франтъ съ огромнымъ хохломъ, съ цѣпочками и лорнетами, котораго Иванъ Александровичъ видѣлъ на набережной съ хозяйкою дома; прiѣхалъ еще какой-то человекъ, пожилой и очень блестящiй: съ тремя бриллиантовыми пуго-

вицами на машикѣ, съ фермуаромъ средней величины на галстухѣ и съ большимъ солитеромъ на указательномъ пальцѣ. Уже открыли два ломберные стола въ гостиной, уже составилась партія виста; хозяйка дома, въ величайшихъ хлопотахъ сама бѣгала съ колодою картъ, и мимобѣгомъ дарила каждому изъ гостей своихъ двумя — тремя приятными словцами, и все различнаго содержания. Остановясь противъ человека съ бриллиантовыми украшениями, она сказала, перебирая въ рукахъ колоду картъ: «Что, вы будете играть, Алексѣй Васильевичъ?»

Мутные зрачки глазъ Алексѣя Васильевича забѣгали при вопросѣ; онъ хотѣлъ улыбнуться, и лицо его образовало довольно неприятную гримасу:

— А по чему роберъ?

«По двадцати-пяти рублей.»

— Пожалуй, — и при этомъ словѣ онъ опять сдѣлалъ гримасу. — Вѣдь-вы знаете, что я никогда не отказываюсь, даже иногда играю и меньше этого.

Онъ небрежно взялъ карту, зѣвнулъ и съ важностію поправилъ свои брызжи, до-

вольно неумѣренно выглядывавшія изъ-за галстука.

Это былъ одинъ изъ извѣстнѣйшихъ игроковъ, величайшій счастливецъ, карточный баловень, почти-никогда не проигрывавшій и допускавшійся даже въ нѣкоторыя гостишны высшаго общества. Для большаго эффекта, или, говоря просто, для большей важности въ своемъ кругу, этотъ господинъ говорилъ, по обыкновенію, немного въ носъ и дѣлалъ различныя гримасы, желая, вѣроятно, показать этимъ, что онъ не простой человѣкъ, что онъ имѣетъ знакомства съ людьми весьма знатными, и что не одни карточные тузы имѣютъ къ нему уваженіе.

Игроки разсаживались; карточные обертки летѣли подъ столъ. — Иващъ Александровичъ сидѣлъ, пригорюнясь, у входа въ гостишную: ему было скучно, онъ не успѣлъ сказать хозяйкѣ даже десяти словъ, онъ не любовался ею десяти минутъ сряду. Она, вотъ только-что остановится, и онъ только-что обрадуется и вооружится всею силою любовнаго взгляда, какъ вдругъ уже нѣтъ ея — она тамъ, въ залѣ. Это очень досадно!

«Что, Иванъ Александровичъ, а? весело? говорили Федоръ Егоровичъ, улучивъ минуточку и подоиди къ нему.

— Да, Федоръ Егоровичъ, я вамъ очень благодаренъ.

Иванъ Александровичъ былъ чрезвычайно скрытнаго характера.

«Пожалте, пожалте, любезный» продолжалъ Федоръ Егоровичъ, поправляя верхнюю буклю своего хохла: «пожалте... за что тутъ благодарить? Вы сами видите, мнѣ это ничего не стоило: я на короткой ногѣ въ домъ — всѣхъ знаю. Не правда-ли, какое прекрасное общество? А? Сколько людей съ вѣсомъ! — Вотъ видите, на-лѣво-то: вошь у тѣхъ дверей, такой пожилой человекъ, украшенный знаками отличія: это дяди мужа Марьи Владиміровны. Оно, видите и ничего, но все такое родство - знаете, протекція; онъ въ большой силѣ... Дѣло какое, или что — сейчасъ къ нему — просто, зачѣмъ далеко идти? Человекъ свой, близкій...»

Въ эту минуту кто-то кликнулъ Федора Егоровича, и онъ исчезъ.

Дестно быть представлену въ такой домъ,

гдѣ, куда ни обернись, куда ни посмотри, назадъ-ли, впередъ-ли, вездѣ и повсюду передъ глазами люди чиновные, значительные, или по крайней мѣрѣ, такіе, которые не сегодня — завтра будутъ много значить, — очень лестно! Противъ этого спорить нечего. Быть вмѣстѣ съ такого рода людьми — это своего рода наслажденіе. Такъ, — по согласитесь, что еще пріятнѣе, не говорю лестнѣе, быть наединѣ съ тою женщиной, которая, будто силою чародѣйства, заставляетъ, при мысли о ней, невольно биться ваше сердце, смотреть на нее, любоваться ею? Согласитесь, что ея очи, не говорю всегда, но порой, кажутся вамъ очаровательнѣе всего на свѣтѣ?

— Это заблужденіе молодости. Вѣрю; но Иванъ Александровичъ былъ молодецъ, и онъ думалъ именно такъ въ то время, когда Федоръ Егоровичъ описывалъ ему всю прелесть знакомства съ людьми чиновными.

«Знаете-ли что Аграфена Николаевна?» говорила хозяйка дома одной пожилкой, толстой, важной и неподвижной дамѣ съ не-

обыкновенно выпуклыми и остолобенѣлыми глазами, одной изъ тѣхъ женщинъ, которая могла служить превосходнымъ типомъ Русской купчихи, возвысившейся до дворянства, «знаете-ли что: не дурно-бы дѣвицамъ потанцовать подъ фортепiano, не правда-ли? Авдотья Петровна такая милая, такая добрая: она вѣрно не откажется поиграть? Признаюсь вамъ откровенно, я не знаю дѣвицы, которая-бы такъ хорошо играла на фортепiano!... Кто былъ ея учителемъ, Аграфена Николаевна?»

— Я все забываю его фамилию. Онъ здѣсь *первый* учитель въ Петербургѣ; ужь, говорятъ, лучше его нѣтъ.

«Это видно, что у нея былъ первый учитель; сейчасъ видно. Вѣдь она вѣрно не откажется сыграть хоть одинъ кадрили?»

— Настинька, поди-ка сюда! Вотъ Марья Владиміровна проситъ, чтобъ ты поиграла для танцевъ.

«Съ большимъ удовольствіемъ-съ, татам.»
 II Настинька — дѣвушка лѣтъ двадцати-осьми, также дородная, какъ ея маменька, сдѣлала очень ловкій *реверансъ*, смотря на Марью Владиміровну.

Марья Владиміровна имѣла рѣдкій даръ все такъ хорошо устроить, занять гостей. . . . Такой привѣтливой, милой, такой разговорчивой и дальновидной хозяйки дома вы не нашли-бы, конечно, въ цѣломъ Петербургѣ. Я говорю это безъ всякаго пристрастія, и готовъ сослаться на всѣхъ, кто посѣщаль ея домъ. Ѳедоръ Егоровичъ, какъ уже извѣстно вамъ, человѣкъ образованный и свѣтскій, онъ самъ, говоря о Марьѣ Владиміровнѣ, всегда называль ея *идеальною*.

«Ангажируйте дамъ, ангажируйте, Григорій Ильичъ, Иванъ Петровичъ, Ѳедоръ Егоровичъ и мсьѣ Рижскій, вы такіе мастера распорядиться: надобно устроить кадрили.»

Видите-ли какъ тонко Марья Владиміровна умѣла льстить самолюбию?

Ѳедоръ Егоровичъ и Г. Рижскій, молодой офицеръ въ золотыхъ очкахъ, бѣгали и набирали кавалеровъ, а между-тѣмъ хозяйка дома подошла къ Ивану Александровичу.

«А вы ангажировали даму?» спросила она его съ привѣтливою улыбкой.

У Ивана Александровича отъ этого вопроса выступилъ холодный потъ на лицѣ.

— Я не танцую-съ, — отвѣчалъ онъ, немного замѣвшись.

« Полноте, полноте. Ангажируйте вотъ эту дѣвицу, что сидитъ въ углу дивана, съ розаномъ на головѣ. Она очень любезна. Пожалуй-ста танцуйте: вѣдь не всегда же философствовать. Я слышала, что вы большой философъ, но иногда съ Парнасса можно спуститься и на землю....»

Какъ хорошо говорила Марья Владиміровна! Какъ искусно каждому она умѣла показать свои познанія!....

Но Иванъ Александровичъ, первый разъ попавшій въ свѣтъ, очень смутился отъ ея любезности и не придумалъ никакой блестящей фразы въ отвѣтъ ей. Онъ просто сказалъ:

— Покорно васъ благодарю. Я, право, не танцую.

Но онъ-бы готовъ былъ отдать въ эту минуту половину своихъ познаній, которыя добывалъ годами трудовъ и постояннымъ усиленіемъ мысли, за то только, чтобъ умѣть протанцовать Французскій кадрили.

Фортепиано забренчали. Кадрили начался.... Ѳедоръ Егоровичъ и офицеръ въ

золотыхъ очкахъ танцовали лучше всѣхъ: это можно было сказать утвердительно, потому-что въ ихъ движеніяхъ была и легкость и грація, а другіе — что это такое? — просто ходили. Пройтись-то умѣлъ-бы и Иванъ Александровичъ.

Въ промежуткахъ танцевъ, когда музыка смолкала, изъ гостиной раздавались крикливые голоса игроковъ. Господинъ съ фермуаромъ на галстухѣ кричалъ громче всѣхъ:

— Когда я игралъ съ Княземъ Петромъ Ильичемъ, у меня были: король, дама самъ-четверть козырей, а у Графа Александра Андреевича валетъ самъ-другъ; ходилъ онъ. Ну, говоритъ мнѣ Князь Петръ Ильичъ, счастье, братецъ, тебѣ, счастье. Тебя любить козыри. Не всегда, я говорю, Ваше Сіятельство. Случается, что и у меня не бываетъ козырей. Князь такой милый, такой шутникъ. — И господинъ съ фермуаромъ очень громко засмѣялся при семь.

Марья Владиміровна, хозяйка дома, была большая охотница танцовать. И ужъ за то какъ танцовала! Удивительно! Какъ она умѣла показать свою ножку, пагнуть не-

много голову на правый бокъ, — прелестно! Это еще былъ маленькій вечеръ, это были еще танцы — такъ, экспромтомъ; а надобно было ее видѣть на большомъ балѣ. . . . — Иванъ Александровичъ не спускалъ съ нея глазъ.

«Страшно» думалъ онъ глядя на нее: «она очень хороша собою, противъ этого говорить нечего, только что-то у нея цвѣтъ лица такой неестественный, черезчуръ малиновый. Развѣ, можетъ-быть, она разгорѣлась танцуя? Да цвѣтъ, какъ я вошелъ, она еще не танцевала, а у нея былъ цвѣтъ лица точно такой-же. Богъ знаетъ отчего это!»

Возвратясь домой очень поздно, Иванъ Александровичъ долго не могъ заснуть: было свѣтло какъ днемъ.

Скучны, господа, эти Петербургскія лѣтнія безсумрачныя ночи! День, вѣчно день. — Я люблю ночь, съ ея таинственнымъ покровомъ, съ ея страшными тѣнями, съ ея поэтическими туманами, которые то прикидываются передъ вами безграничнымъ моремъ, то какими-то чудными громадами зданій. Я люблю ночь, роскошно то-

мящуюся въ лушномъ мерцаши, упоешную ароматами цвѣтовъ, истаевающую, дрожащую въ пѣгѣ. . . . О, я не промѣняю вашу ослѣпительный день на такую ночь, господа! Пѣтъ, не промѣняю. . . .

Иванъ Александровичъ въ этомъ случаѣ былъ совершенно согласенъ со мною. Онъ также не любилъ вѣчнаго Петербургскаго дня. Онъ сидѣлъ у постели, пригорюнясь.

Вотъ — думалъ онъ — прошелъ и этотъ вечеръ, котораго я цѣлую недѣлю ждалъ съ такимъ нетерпѣшемъ, о которомъ мечталъ ежеминутно. . . . Прощель! Ужь не въ-самомъ-ли дѣлѣ мечта лучше существенности?

Иванъ Александровичъ былъ вообще не очень доволенъ вечеромъ Марьи Владиміровны.

«Она, правда, милая женщина, привлекательная, а все не то, что я воображалъ. Не то!»

Она гораздо лучше, когда любитъ Невою, нежели когда танцуетъ въ залѣ.»

— Весело-ли вамъ было вчера, Иванъ Александровичъ? — спрашивала его Елизавета Михайловна, утромъ за чаемъ, еще до прихода тетушки. . . .

«Такъ, не очень-съ.»

Елизавета Михайловна посмотрѣла на него, онъ посмотрѣлъ на Елизавету Михайловну: ея глаза были очень красны, вѣки какъ-будто распухли.

«Не болятъ-ли у васъ глаза, Елизавета Михайловна? какіе красные!»

Она вздрогнула при этомъ словѣ и уронила изъ руки ситечко.

— Будто красны? я не замѣтила; да, немножко болятъ.

«Хотите, я вамъ принесу розовой воды, Елизавета Михайловна?»

— Пить, не надо. Впрочемъ, если васъ это не обезпокоитъ, принесите, Иванъ Александровичъ.

Какъ драгоценность хранила Елизавета Михайловна стеклянку съ розовою водою. Иванъ Александровичъ въ тотъ-же день принесъ ей эту стеклянку. Она всякой день утромъ и вечеромъ вынимала ее изъ комода, смотрѣла на нее съ большимъ чувствомъ, обливала слезами, и, говорятъ, даже цѣловала. Вѣдь-это былъ подарокъ Ивана Александровича, что-же мудренаго? Это былъ его первый подарокъ!

Такъ, день уходилъ за днемъ, недѣля смѣнялась недѣлей.... То-же однообразіе въ домѣ тетушки Ивана Александровича, никакой перемѣны. Старушка сидитъ на тѣхъ же кожаныхъ креслахъ и вяжетъ чулокъ или раскладываетъ карты, — только рѣже вяжетъ она чулокъ, только чаще протираетъ очки своимъ пестрымъ носовымъ платкомъ: здоровье-то ея стало плоше, зрѣніе-то слабѣе. Елизавета Михайловна также скучна и также блѣдна, сидитъ у ногъ ея съ шитьемъ въ рукахъ, только чаще прежняго оставляетъ она иголку, и украдкой взглядываетъ на старушку, и — задумывается, очень задумывается. Жизнь старушки — это ея жизнь.... Развѣ она, сирота, можетъ отдѣлнить свое существованіе отъ ея существованія? Что она будетъ безъ нея?.... Сидитъ напротивъ старушки и Иванъ Александровичъ, онъ смотритъ на Елизавету Михайловну и думаетъ: рѣдкая дѣвушка, какая у нея ангельская душа, какое доброе сердце.... Вотъ-такъ, кажется, въ этихъ глазахъ и свѣтится небо!....

Мелкій осеній дождь запорошиваетъ стекла; печально сѣрое небо безъ просвѣту, печально, какъ мысли Елизаветы Михайловны.

— Лизачка, Лизачка, что-то ты у меня не на шутку худѣешь, говоритъ старушка, отложивъ карты и глядя на нее, — это больно меня беспокоитъ. Не посовѣтоваться-ли съ Францомъ Карловичемъ, а? —

«Нѣтъ, маменька; нѣтъ, голубушка. Зачѣмъ мнѣ докторъ? Я, право, чувствую себя совсѣмъ здоровою» и слеза дѣвушки упадаетъ на морщинистую руку старушки.

— Ужь-ты и расцѣпалась, дурочка. Ну, о чемъ-же тутъ плакать?

Ивану Александровичу стало очень жаль Елизавету Михайловну, такъ жаль, что у него разрывалось сердце, глядя на ея блѣдное, печальное личико. что у него, у мужчины, готова была вырваться слеза, глядя на ея слезы; но онъ скрѣпился, проглотилъ эту слезу. Какъ ему было не понять тайной причины страданія этой дѣвушки, глядя на свою дряхлѣющую тетку?

Бѣдная, бѣдная дѣвушка!

Въ эту минуту въ комнату вошла горничная и подала Ивану Александровичу записку. Онъ распечаталъ: — отъ Федора Егоровича; Марья Владиміровна приглашаетъ его къ себѣ на вечеръ. «У нея» пишетъ онъ: «будетъ такъ, *кой-кто*, человекъ тридцать, все большею частію *свои*.»

Нѣтъ, не поѣду, подумалъ Иванъ Александровичъ, что-то скучно; да и кому-жь я былъ у нея недавно.

Точно: Иванъ Александровичъ раза четыре былъ у нея послѣ того вечера, въ который онъ съ такими надеждами, съ такимъ восторгомъ представился къ ней въ новомъ фракѣ цвѣта Аделаиды.

Этотъ фракъ и теперь еще почти-совсѣмъ новыи, ни сколько не полинялъ, ни мало не обтерся; пуговицы только немножко почернѣли, да это ничего не значитъ: можно поставить новыя; но тѣ надежды, тѣ восторги, съ которыми онъ надѣвалъ этотъ фракъ, отправляясь въ первый разъ къ Марьѣ Владиміровнѣ, кто обновитъ ихъ, скажите? Неужели онъ, цвѣтущій и яркій,

такъ скоро увяли? . . . Видно, ужь въ-самомъ-дѣлѣ на свѣтѣ нѣтъ ничего постояннаго!

Текла, Юлія, Маргарита, Татьяна — обратились просто въ Марью Владиміровну, когда Иванъ Александровичъ посмотрѣлъ на нее вблизи, поознакомился съ нею. Какъ все обманчиво издали! смотришь, что за цвѣтъ лица, какая свѣжесть! Роза! а посмотришь поближе — румяны. Вездѣ подлогъ, вездѣ обманъ. . . . Право, немного веселаго въ жизни; по неволѣ заноешь элегіей!

Полный кипучихъ, студенческихъ фантазій, Иванъ Александровичъ заговорилъ однажды съ Марьей Владиміровной о Театрѣ, какъ о храмнѣ изящнаго, о высококомъ назначеніи искусства въ мірѣ, заговорилъ:

О Шиллерѣ, о славѣ, о любви.

Онъ думалъ, что ея сердце забьется отъ этихъ рѣчей, что она будетъ сочувствовать его энтузіазму. Онъ говорилъ съ жаромъ и убѣдительностію, она слушала равнодушно, не знаю — понимая или не понимая, и когда онъ кончилъ, она съ свойственною ей граціею, которую въ другомъ кругу,

вѣроятно изъ зависти, назвали-бы жеманствомъ, сказала съ разстановкою:

— Да, ничего не можетъ быть лучше театра. Я очень люблю спектакли, въ особенности веселые водевили. Есть такіе смѣшныя, вотъ такъ-бы и хохотать до-упаду. А трагедии я терпѣть не могу: тамъ вѣчно несчастія, рѣзня: это ужасно разстроиваетъ нервы, а я кому-же такая раздражительная. . . .

Иванъ Александровичъ хотѣлъ возражать, но Марья Владиміровна не дала ему вымолвить слова.

— Перестаньте, перестаньте, Иванъ Александровичъ. Нѣтъ, ужь - я водевилъ ни на что на свѣтѣ не промѣняю.

Иванъ Александровичъ вздохнулъ.

Въ другой разъ, рѣчь зашла о романахъ. Иванъ Александровичъ выхвалялъ Вальтеръ-Скотта (вы уже знаете, что это одинъ изъ любимыхъ писателей Ивана Александровича), доказывалъ, что до Вальтеръ-Скотта не существовало романа, что «романъ, только въ наши дни получилъ свое высшее достоинство его гениемъ, что и послѣ Ричардсона, Лесажа и Руссо онъ все еще не имѣлъ

права на названіе сочиненія опредѣленнаго и положительнаго, не смотря на то что существовали *Новая Элоиза, Вертеръ*... и проч. и проч... словомъ, повторилъ все то, что говорили о немъ Европейскіе критики, и что велѣдъ за ними печатали наши журналы. Иванъ Александровичъ говорилъ горячо и долго. Марья Владиміровна только изъ одного приличія не зѣвала. Когда онъ кончилъ, она сказала:

— Что ни говорите, Иванъ Александровичъ, а вашъ Вальтеръ-Скоттъ прескучный, пренесносный: я не нахожу въ немъ ничего хорошаго. Какъ можно его сравнить съ Дарленкуромъ, или Поль-де-Кокомъ? Дарленкуръ такой чувствительный писатель, а Поль-де-Кокъ такой забавный. Я всегда хохочу до истерики отъ его романовъ. Я очень люблю Поль-де-Кока.

«Поль-де-Кокъ!» Иванъ Александровичъ хотѣлъ что-то возразить, но слова замерли на языкѣ его. «Поль-де-Кокъ!» повторилъ онъ снова глухимъ голосомъ, и снова остановился.

Минуть черезъ пять онъ собрался съ духомъ и сказалъ:

«Помилуйте, Марья Владиміровна! Я не знаю, что же вы находите хорошаго въ Поль-де-Кокѣ?»

— Перестаньте, перестаньте, Иванъ Александровичъ. Ну, что вашъ Вальтеръ-Скоттъ то написалъ хорошаго? Признаюсь вамъ, меня никто такъ не забавляетъ, какъ Поль-де-Кокъ. . . .

Иванъ Александровичъ вздохнулъ.

Съ этой минуты онъ совершенно охладѣлъ къ Марьѣ Владиміровнѣ, такъ охладѣлъ, что ему было все равно есть-ли она на свѣтѣ, или нѣтъ. Не видите-же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите-же, что онъ безъ причины разлюбилъ эту женщину! О, нѣтъ! Онъ готовъ былъ любить ее страстно, безумно, онъ готовъ былъ боготворить ее; но я знаю навѣрно: онъ не воображалъ, чтобы въ Петербургѣ могла найтись женщина, которая - бы любила одинъ только водевилъ, да романы Поль-де-Кока. И еще женщина изъ тако-го прекраснаго круга!

Они просто не сошлись. Иванъ Александровичъ думалъ найти въ Марьѣ Владиміровнѣ существо, гармонировавшее съ нимъ. . . .

Что-жь дѣлать! онъ ошибся, онъ еще мало зналъ людей. Проказникъ! онъ думалъ, что всѣ должны имѣть одинаковый съ нимъ вкусъ, одинаковый образъ мыслей. . . .

Вотъ отчего Иванъ Александровичъ такъ холодно принялъ приглашеніе Марьи Владиміровны. Да и Ѳедоръ Егоровичъ сталъ наскучать ему: онъ безпрестанно приставалъ съ своими стишками.

«У меня есть небольшое стихотвореньице, Иванъ Александровичъ» говорилъ онъ, пожимая ему руку: «такъ, знаете, я сочинилъ для забавы, когда жилъ прошлое лѣто по Парголовской дорогѣ. Вы знакомы съ однимъ журналистомъ, по дружбѣ-этакъ, попросите, чтобы онъ напечаталъ въ своемъ журналѣ. Видите, я посвятилъ эти стишки Марьѣ Владиміровнѣ, она-вѣдь охотница до поэзи, и, между нами сказать, смыслитъ кое-что въ этомъ дѣлѣ. Она очень хвалила вотъ-это мѣсто. . . .»

Ѳедоръ Егоровичъ вынулъ изъ кармана бумажку всю исписанную, и началъ читать съ большимъ чувствомъ:

Ручей бѣжалъ между кустами,

Я молча плакалъ у ручья;

Но ты не тронулась слезами,
Жестокосердая моя!
Ужь солнце къ западу клопилось
И я побрелъ къ себѣ домой,
И голова моя скатилась
На грудь, изрытую тоской!...

А? какъ вы находите это мѣсто?»

— Очень хорошо, отвѣчалъ Иванъ Александровичъ.

«Знаете, тутъ много меланхоли, не правда-ли? У меня вообще этакъ... меланхолическое расположеще въ моихъ стихахъ...»

Неотвязчивый челоѣкъ, несносный! думалъ однажды Иванъ Александровичъ, разбирая свои бумаги и отыскавъ между ними стихи Федора Егоровича: «Ну, что я буду дѣлать съ этими стихами?»

Вдругъ между бумагами мелькнуло что-то красенькое.

— Чтобы это такое?.. подумалъ Иванъ Александровичъ.

Кошелекъ! Это тотъ самый кошелекъ, который Елизавета Михайловна отдала ему съ своими деньгами, и который она никакъ не хотѣла взять назадъ.

Иванъ Александровичъ призадумался надъ этимъ кошелькомъ. Онъ вспомнилъ, съ какимъ восторгомъ эта добрая дѣвушка отдавала ему свои послѣднія деньги, какъ она была огорчена, когда онъ не хотѣлъ брать ихъ... Онъ вспомнилъ ея слезы, и потомъ эту непритворную радость, когда онъ рѣшился взять деньги...

«Боже мой!» и вдругъ мысль: *что, если она любитъ меня?* — впервые блеснула въ головѣ его...

IV.

«И въ часъ, какъ съ молитвой на блѣднѣхъ устахъ,
Ты въ смертной борьбѣ трепетала,
Ты эту молитву съ слезой на глазахъ
О благи моемъ лепетала.»

Э. Губеръ.

«Но да видишь лине дѣвойке!...»

(Изъ Серьеской пѣсни.)

Прошло еще два мѣсяца, кажется, что два, а можетъ-быть немного и болѣе, послѣ той минуты, когда Ивану Александровичу попался на глаза кошелекъ Елизаветы Михайловны и заставилъ его задуматься. Въ

эти два мѣсяца онъ внимательно наблюдать за нею. «Да, она любить меня, точно любить, милая дѣвушка!» Такъ разсуждалъ онъ самъ съ собою, грѣясь въ одинъ вечеръ у печки. Зима въ этотъ годъ была ужасно холодная. «И я не видѣлъ прежде любви ея? И я предпочиталъ ей эту Марью Владиміровну! тогда какъ передъ глазами у меня былъ настоящій ангелъ, я гонялся, самъ не знаю за чѣмъ... Свѣтская дама! Хороши-же эти свѣтскія дамы!

Иванъ Александровичъ, разсуждая такимъ образомъ очень долго, вовсе не замѣчалъ, что сальная свѣча, стоявшая передъ нимъ на столѣ, такъ нагорѣла, что въ комнатѣ не видно было ни зги; онъ даже не слышалъ, какъ вошла въ комнату Елизавета Михайловна, не видалъ, какъ она приблизилась къ столу, на которомъ стояла свѣча, какъ она сняла со свѣчи, и еслибы не ея *ахъ!* при видѣ Ивана Александровича, то онъ, вѣроятно, еще не скоро-бы очнулся.

— Я думала, что здѣсь никого нѣтъ. Вы не повѣрите, какъ я испугалась. —

«А я, ей-Богу, и не слышалъ, какъ вы вошли сюда, Елизавета Михайловна.»

— О чемъ вы такъ задумались, Иванъ Александровичъ?

Иванъ Александровичъ хотѣлъ что-то сказать, заикнулся на первомъ словѣ и замолчалъ. У него не достало духу пересказать ей то, о чемъ онъ думалъ; но пристально, необыкновенно пристально посмотрѣлъ онъ на Елизавету Михайловну. Этимъ взглядомъ онъ, казалось, хотѣлъ проникнуть въ самую заповѣдную глубь ея сердца.

Она стояла передъ плитъ пригорюнясь, поддерживая одною рукою локоть руки, на которую упала ея головка, — блѣдна, какъ мраморъ, неподвижна, какъ статуя.

«Что съ вами? произнесъ онъ послѣ минуты молчанія.»

— Маленькъ сдѣлалось хуже. . . Она очень слаба. —

Голосъ, которымъ были произнесены слова эти, произвелъ страшное дѣйствіе на Ивана Александровича: у него пробѣжалъ морозъ по кожѣ отъ этого голоса.

«Богъ милостивъ, зачѣмъ отчаяваться? Ктому-же Францъ Карловичъ говоритъ, что у нея нѣтъ никакой опасной болѣзни.»

— Она очень больна, — повторила тѣмъ же голосомъ Елизавета Михайловна, «очень» и этотъ голосъ перервался, задушенный рыданьемъ, и она закрыла руками лице.

Иванъ Александровичъ бросился къ стулу:

«Сядьте, сядьте Елизавета Михайловна, вы насилу стоите. Полноте, успокойтесь, право, Богъ не допуститъ такого несчастья.»

Она опустилась на стулъ.

— Богъ не допуститъ — повторила она, но если, если ея не станеть, — и она вдругъ отерла слезы, схватила Ивана Александровича за руку, глаза ея горѣли, губы дрожали, голосъ безпрестанно прерывался, — если ея не станеть, я не переживу этого. . . Ея гробъ — мой гробъ. И что-же моя жизнь безъ ея жизни? . . .

«Послушайте, Елизавета Михайловна, не одна тетунка въ мѣръ умѣетъ цѣнить и любить васъ. Если ужъ Богу будетъ угодно. . . то останется здѣсь еще человекъ, который любить васъ не меньше ея, для котораго вы» . . . Онъ не могъ договорить, онъ сжалъ ея руку и робко взглянулъ на нее.

Она пошатнулась, какой-то несказанно-сладостный трепеть пробѣжалъ по всѣмъ

ея членамъ: она еще никогда не ощущала ничего подобнаго, туманъ застилалъ ея очи. Это была минута забытья, это былъ неопредѣленный, неуловимый переходъ отъ бодрствованія ко сну. . . . Долго не могла она ничего произнестъ, долго рука ея лежала въ его рукѣ; наконецъ она отдернула эту руку и протерла глаза.

Снова нагорѣвшая свѣча разливала слабый, красноватый свѣтъ по комнатѣ. . . . Она осмотрѣла кругомъ себя. . . . Что это? греза?

«Елизавета Михайловна! Елизавета Михайловна!» говорилъ Иванъ Александровичъ почти шепотомъ: «Я люблю васъ, я люблю васъ, Богъ свидѣтель, что ваше спокойствіе, ваше счастье дороже всего для меня. . . .»

Она вздрогнула.

— Иванъ Александровичъ! о, это не сонъ!
— И она опять протирала глаза: — вы не смѣетесь надъ бѣдною дѣвушкой? Пѣть?

«Боже мой! Да, я люблю васъ» повторилъ онъ: «люблю. . . Но, скажите мнѣ одно слово, только одно. . . любите-ли. . . Въ этомъ словѣ для меня все, все — мое существованіе, моя жизнь. . . о, скажите мнѣ. . . .»

Онъ не могъ больше говорить, переполненный чувствомъ.

Грудь ея дышала порывисто, дыханье замирало въ груди.

Это была для нея одна изъ тѣхъ минутъ, которыя испытываютъ разъ въ жизни, и то только избранные, и этихъ избранныхъ называютъ въ мѣрѣ счастливыми, и этихъ счастливыхъ немного въ мѣрѣ. — Да, въ эту минуту она вполне поняла все очарованіе, всю силу, всю безпредѣльность того, что называютъ счастьемъ; въ эту минуту она даже забыла о своей больной старушкѣ, о своей матери, о своей благодѣтельницѣ. . . Она была взаимно любима. *Взаимно!* . . . А если, господа, на землѣ что-нибудь выше, что-нибудь отраднѣе, что-нибудь святѣе взаимной любви?

— Мнѣ ли не любить васъ, Иванъ Александровичъ? . . — И голова его упала на ея руку, и онъ прильнулъ къ этой рукѣ горячими устами. . .

Вдругъ кто-то застоналъ въ ближней комнатѣ.

— Ахъ, маменька! . . . Елизавета Михай-

ловна чуть не вскрикнула; вскочила со стула и выбѣжала изъ комнаты.

Иванъ Александровичъ остался неподвиженъ на стулѣ.

На другой день тетушка его почувствовала себя лучше. Она сидѣла на кровати, прислонясь къ подушкамъ, и смотрѣла на свою Лизу.

— Лизачка, говорила она ей, — моя молитва дойдетъ до Бога: я молилась за тебя каждое утро, каждый вечеръ. Онъ, Отецъ мой небесный, видѣлъ мои слезы. Лизачка! Онъ дастъ тебѣ счастье.

Старушка протянула къ ней свою ослабѣвшую руку и крестила ее.

«Матушка, другъ мой, выздоравливайте скорѣе, и тогда... тогда я буду совершенно счастлива.»

— Ну, полно, плакса. Видишь-ли я сегодня пободрѣе могу сидѣть. Перестань хныкать, прочти-ка мнѣ лучше письмо Евграфа Матвѣевича. Спасибо ему, спасибо: не забываетъ старыхъ друзей, даромъ что идетъ вверху и весь обвѣшанъ крестами... Право, спасибо.

Елизавета Михайловна развернула письмо, которое держала въ рукѣ, и начала читать тихо, съ разстановками:

«Милостивая Государыня моя,

«Авдотья Евлампіевна!

«По ходатайству вашему, а также во уваженіе пріязни моей къ покойному супругу вашему, а моему хорошему другу «Игнатию Матвѣевичу, котораго я до конца «жизни моей не забуду, и воспоминаніе о «которомъ унесу съ собою и въ гробъ. . . .

— Ахъ ты, родной мой, съ какими чувствами! — перебила старушка: — Этакихъ людей немного нынче, нѣтъ! Вотъ душа-то! Ну, ну, читай, Лиза, читай.

. . . . «унесу съ собою и въ гробъ, опредѣляя я племянника вашего, Ивана Александровича на службу подь собственное «свое вѣдомство, и неослабно самъ наблюдалъ за его старательностію и способностію въ отношеніи письменныхъ дѣлъ, и «убѣдясь въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ таковой его старательности, «равно какъ и въ способности, о помѣщеніи «его на первую открывшуюся въ отдѣленіи «моемъ вакансію на штатное мѣсто, а именно

«Помощника Столоначальника съ 1500 р.
«окладомъ въ годъ, не замедилъ обратиться
«съ представленіемъ къ Директору Депар-
«тамента, который и утвердилъ его въ озна-
«ченномъ выше званіи, сего Ноября 5 дня;
«вслѣдствіе чего, Милостивая Государыня
«моя, свидѣтельствуя вамъ совершенное мое
«почтеніе, имѣю честь васъ увѣдомить» и проч.

— Дай Богъ ему здоровье! Да, надо
сказать, прежняго вѣка люди-то посолд-
нѣе: хлѣбъ-соль чужую не забываютъ...
А каковъ-же мой Иванушка? Онъ у меня
мальш умышій, и не одного себя прокор-
мить. Правда, Лизацька?

И старушка улыбалась сквозь слезы и
трепала ее по щекамъ съ самодовоольствіемъ.

Время шло своимъ чередомъ, а здоровье
старушки не поправлялось. Она видимо
хилѣла. Францъ Карловичъ прописывалъ
ей микстуры, которыя не помогали, смо-
трѣлъ на больную, нюхалъ табакъ и гово-
рилъ себѣ подъ носъ: «гмъ, эта болѣзнь
называется старость.»

Однажды подъ-вечеръ, ей сдѣлалось за-
мѣтно хуже. Елизавета Михайловна не от-
ходила отъ ея постели цѣлую ночь; бѣдная

дѣвушка не смыкала глазъ, она тихо плакала, задушая въ себѣ рыданья, боясь, чтобы не услышала ея горе родная. И тяжело было ей: грудь ея въ ту минуту была могильнымъ склепомъ, въ которомъ заключены были ея страданья, ея вопли.

Иванъ Александровичъ также не отходилъ отъ постели больной; и онъ, порою, утиралъ слезу, которая докучливо катилась по его щекѣ: горько было ему смотрѣть на потухающую жизнь своей второй матери, еще горче на страданье Елизаветы Михайловны. Онъ съ каждымъ днемъ привязывался къ ней больше и больше, онъ чувствовалъ, что безъ нея ему ничего не мило, онъ не могъ дать себѣ отчетъ, какъ вкрасась къ нему эта любовь, и не зналъ, что она таилась въ немъ давно, только безсознательно. Онъ любилъ ее горячо, любилъ съ самоотверженіемъ юноши, одареннаго душею благородною и сильною. . .

Онъ хотѣлъ утѣшать Елизавету Михайловну; но что такое утѣщеніе въ минуты свищовой безотрадности? Онъ хотѣлъ молвить ей слово надежды; но могло-ли быть

сильно это слово въ устахъ чловѣка, которъй не имѣлъ самъ ея?

Итакъ Иванъ Александровичъ сидѣлъ молча, съ поникшею головою. Ночь была безконечна, каждая минута высчитывалась страданьемъ, или вздрагиваньемъ или замираньемъ сердца... Однообразно стучалъ маятникъ, страшно было стenanье старушки, тяжело и неровно ея дыханье.

Подъ-утро больная забылась.

«Елизавета Михайловна,» произнесъ Иванъ Александровичъ: «тетушка, кажется, уснула; ради Бога, подите, лягте, усните и вы хоть на нѣсколько минутъ. Вы измучились, вѣдь вы занеможете сами. Ради Бога! я останусь здѣсь.»

— Итъ, я не могу спать; я не устала, ничего.—А голова ея кружилась и она на силу сидѣла на стулѣ.

Утромъ старушка потребовала священника.

Елизавета Михайловна лежала безъ чувствъ въ другой комнатѣ: ее оттирали.— Иванъ Александровичъ поддерживалъ голову старушки: она причащалась Святыхъ - Таиць.

Великій обрядъ совершился. Хладѣющія уста старушки шевелились безъ словъ: она про-себя читала молитву; правая рука ея двигалась на груди, она хотѣла креститься.

— Пошлите ко мнѣ мою дочку, — сказала она довольно явственно. — Гдѣ же она, гдѣ моя Лиза? Лиза, Лиза. . . .

Ее привели.

Она упала на колѣна передъ постелью. Умирающая положила руку на ея голову — и вдругъ глаза ея вспыхнули послѣднимъ огнемъ, и она произнесла громко, голосомъ полнымъ торжественности:

— Боже! Боже! Услышь меня въ эту минуту. Господи! не оставь ея!

Изъ груди несчастной дѣвушки вырвался раздрающій вопль.

Францъ Карловичъ наморщился; у него, видно, хотѣли показаться слезы, но онъ скрѣпился, вынулъ изъ кармана табакерку и началъ съ разстановками нюхать табакъ.

— Ближе, ближе ко мнѣ, моя Лиза, — продолжала старушка голосомъ, постепенно слабѣющимъ. — Вотъ такъ теперь мнѣ теплѣ. . . . Прощай, другъ

мой. . . . Я не одну тебя оставляю. . . . Ты-
вѣдь любишь его, Лиза. . . . Гдѣ онъ?
его руку.

Она искала руки Ивана Александровича;
онъ подошелъ къ ея изголовью и также сталъ
на колѣна. Она взяла его руку, соединила
съ рукою Елизаветы Михайловны и смотрѣла
на нихъ пристально.

— Дайте мнѣ насмотрѣться на васъ. . . .
Это все ваше. . . все, друзья мои; будьте
счастливы. . . . У меня что-то темнѣеть
въ глазахъ. . . .

«Матушка! Не оставляйте дѣтей вашихъ.
Матушка! Что-же? Развѣ вы не хотите
видѣть нашего счастья? Еще одинъ часъ,
одну минуту, родная. . . .» и несчастная за-
хлебнулась слезами.

Вдругъ она почувствовала что-то холод-
ное на своей рукѣ: это была рука старушки,
которая замерла, соединяя ее съ обручен-
никомъ ея сердца.

Она вскрикнула, приподнялась, осмотрѣ-
лась кругомъ себя — и какъ трупъ рухну-
лась къ ногамъ доктора, обнимая его ноги.

«Спасите, спасите матушку!»

Францъ Карловичъ едва удержался на

ногахъ; онъ снова сдѣлалъ гримасу и прошепталъ себѣ подъ носъ (это была его привычка:) «Боже мой, нѣтъ ничего не-пріятнѣе, какъ видѣть несчастіе.»

Потомъ онъ и Иванъ Александровичъ бросились помогать бѣдной дѣвушкѣ; старушка уже не требовала никакой помощи.

Около вечера, когда Елизавета Михайловна немного успокоилась, Иванъ Александровичъ, оставивъ ее на руки двумъ женщинамъ, вышелъ изъ дома:

Задумчивъ шелъ онъ по улицѣ. Образъ умирающей тетки, ея благословеніе, отчаяніе *ею* Елизаветы Михайловны: онъ теперь имѣлъ право назвать ее *своею*. . . . все это вмѣстѣ перебѣгало въ головѣ его.

— Иванъ Александровичъ! Иванъ Александровичъ! кричалъ ему кто-то, шедшій навстрѣчу.

Иванъ Александровичъ нахмурилъ брови и поднялъ голову. Передъ нимъ стоялъ Федоръ Егоровичъ.

— Что это? Сто лѣтъ не видались, почтеннѣйшій, ей-Богу; не стыдно-ли вамъ

это, Иванъ Александровичъ, никогда не заглянете. — А я вамъ скажу новость: я женюсь да, да. Ну, а на комъ, отгадайте? — На Марьѣ Владиміровнѣ! Не правда-ли, славная партія: и умная женщина, и протекція — и все-этакъ знаете. — Вотъ бы теперь къстати вы попросили, чтобъ напечатали мои стишки съ посвященіемъ къ ней. — Ну, а сказать-ли вамъ, куда я теперь иду? Надобно купить какую-нибудь брильянтовую вещь: серьги или что-нибудь-этакъ въ подарокъ. Знаете, жениху столько хлопотъ, туда, сюда. . . . А вы куда идете, Иванъ Александровичъ?

«Къ гробовому мастеру. Моя тетка сейчасъ скончалась. Прощайте, Федоръ Егоровичъ.»

ИВ. ПАНАЕВЪ.

ПОРОНЯ.

«Кони, кони вороные!
Вы не выдайте меня:
Настигают засадные
Мои вороги лихие,
Вся разбойничья семья!...
Отслужу вамъ, кони, я...
Палетасть, осыпаетъ,
Отъ погони грозной пыль:
Бердышъ блещетъ, ножъ сверкаетъ:
Кто-жь на выручку?... Не вы ль?
Кони, кони вороные,
Дѣти воли и стеней,
Боевые, огневые,
Вы не вѣдали цѣпей,
Ни удушья въ темномъ стойлѣ:
На шелку монхъ луговъ,
На росѣ, на вольномъ поилѣ
Я вскормилъ васъ, скакуновъ;
Не натужилъ, не неволилъ,
Я лелѣялъ васъ и холмилъ,
Борзыхъ, статныхъ летуновъ.
Такъ не выдайте-же друга!
Солнце низко, гаснетъ день,

А за мной визжитъ кистень.....
 Малой! Что? вѣрна ль подруга?
 Не солгутъ-ли повода?
 Ну, по всѣмъ!..... кшпигъ бѣда!.....
 «Повода изъ Шамаханскихъ;
 «За подругу ты не бось:
 «Оси кряжъ дубовъ Базанскихъ...
 «Но боюсь, обманетъ ось!»
 Не робѣй, мой добрый царень!
 Только бѣ голову снасти,
 Будешь волею и въ чести,
 Будешь изъ моихъ поварень
 Бѣсть и пить со мной одно.....
 Степь тумашить; холодно!
 Боямъ будетъ повольше.....
 Но погоня все слышнѣе:
 Чу, какъ шаркаютъ ножи,
 Шелеститъ кинжалъ злодѣя!.....
 Не натягивай возжи
 Золоченой рукавицей:
 Мчись впрямикъ, какъ видитъ глазъ,
 Бѣлюрою шпешницей
 Раскормлю я, кони, васъ,
 И уподчю сытою,
 И попоной золотою
 Изукрашу на показъ.
 И пахучимъ, мягкимъ сѣномъ
 Обложу васъ по колюю.....
 Но пробѣль, знать, смертный часъ!

На верстѣ злой воронъ каркнулъ,
Свистъ и топотъ все громчѣй,
Ужь надъ самымъ ухомъ гаркнулъ
И спустилъ кистень злодѣй:
«Стой!»... Но яркія зарницы
Свѣтъ воздухъ золотятъ,
Ликъ небесныя Царицы
Въ шихъ блеснулъ.... Кони летятъ
Безъ насады, безъ усилія,
По доламъ, по скату горъ,
Будто кто имъ придалъ крылья....
Ось въ огнѣ!.... По ужъ во дворъ,
Отъ разбойничей погони,
Мчатъ упаренные коня!....
Вотъ и дворни яркій крикъ!
И женихъ въ дверяхъ свѣтлицы:
Что-ль онъ видитъ? — У дѣвицы
Взмытъ слезами юный ликъ...
Предъ Иконою Царицы
Дѣва въ грусти и въ слезахъ,
Въ сердцѣ чуя вѣщій страхъ,
Изливалась вся въ молитвы....
«Такъ спасенье не въ коняхъ?...»
«Изъ разбойничей ловитвы»
«Вижу *къ*мъ я унесёнъ;
«Вижу *кто* былъ обороной!....»
И повергнись предъ *Иконою*,
Весь въ слезахъ излился онъ.

ОЕДОРЪ ГЛИНКА.

ВѢТХІЙ ЗАВѢТЪ.

I.

Во мнѣ затаилась мысль неземная —
И всталъ я, какъ свѣточъ вѣковъ.
И первый мой шагъ былъ твердыня Синая,
А шагъ мой послѣдній — Голговъ.

II.

Я дивенъ, я мудръ, я вознесъ Моисея,
Исайю взлелѣивалъ я;
Я шелъ исполнски и, древнее сѣя,
Ждалъ восхода въ поляхъ бытія.

III.

И древнее дало мнѣ новые всходы,
И въ нихъ однако зерно, —
И вамъ я его завѣщаю, народы:
Залогъ возрожденья оно.

В. СОКОЛОВСКІЙ.

РАДУГА

НАДЪ КЛАДБИЩЕМЪ.

Несчастливъ тотъ, чья жизнь долга,
Онъ много радостей скоронитъ,
Онъ, можетъ быть, къ стопамъ врага
Сѣдныи скорбныи преклонитъ.
Въ толпѣ безчувственной людей,
Познавъ всю горечь подаянья,
Утратить онъ родство, друзей,
И даже слезы вспоминанья.
Младенецъ ветхій, онъ сидитъ
Какъ лишний гость въ бесѣдѣ шумной,
И тихо гаснетъ, и глядитъ
На гробъ съ улыбкою безумной.

Мы любимъ жизнь. Не дологъ путь
Отъ колыбели до могилы:
Едва успѣешь развернуть
Грозой испытанныи силы —
И ранней старости ознобъ
Уже пророчитъ сердцу гробъ.
Душа, взмученная въ тѣлѣ,
Првыкнетъ днемъ не дорожить.

Блаженъ, кто въ роковомъ предѣлѣ
Могъ славный подвигъ совершить!
Но часто тлѣетъ огнь небесный,
Не расплавляючи оковъ:
Такъ тигръ кружится въ клеткѣ тѣсной,
И жаждетъ стени и лѣсовъ...

Святой, торжественный эфиръ,
Безмолвный думъ моихъ свидѣтель!
Я вѣрю: есть *небесный* міръ,
Гдѣ увѣнчаютъ *добродѣтель*.
Взгляните: надъ семьей гробовъ
Не даромъ радуга сілетъ,
Склонился Ангелъ съ облаковъ,
И землю съ небомъ съединяетъ!

Д. СТРУЙСКІЙ.

ВЕСНА.

Весна! ты снова гостя наша;
Уже полна восторговъ чаша
Въ пріютѣ горести и тмы:
Заботамъ отдыхъ; сыты взоры.
Во прахъ тюремные затворы
Сѣдой волшебницы зимы!

Опять въ зеленыя одежды —
Символь младенческой надежды —
Твои увиты алтари;
Опять, нося по небосклону
Твою блестящую корону,
Соплились двѣ иѣжныя зари.

И будто слышу чуткимъ слухомъ,
Какъ древній міръ юнфеть духомъ:
Ему не бремя ноша лѣтъ.
И ль человекъ, вѣнецъ творенья,
Скорблю, дряхлѣю въ ризѣ тлѣнья,
И обновленія мнѣ иѣтъ.

Въ моей груди не стоишь, не ропотъ;
Но я бы отдалъ жизни опытъ
За лучшей день моей весны;
Онъ и теперь, въ лѣта страданій,
Повитый мглой воспоминаній,
Въ мои проглядываетъ сны.

Мнѣ грустно стало: тучей мысли
Надъ міромъ памяти нависли.
И вотъ — туманны изъ могилъ
На ниръ печальный вышли гости,
Боторыхъ я, какъ на погостѣ,
Съ молитвой въ сердцахъ схоронилъ.

Покойтесь съ миромъ! Ваши пѣсни
Даютъ душѣ одиѣ болѣзни.
А ты, весна моя — алмазь,
Ты изъ колечка жизни выпалъ,
Тебя годами я засыпалъ
И блескъ твой въ памяти погасъ.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВЪ.

КОНЕЦЪ МИРА.

(ПОВѢСТЬ.)

«*Apropinquante mundi termino . . .*»

Изъ дарственной грамоты Ст.-Герода Барона
д'Орильяка. . . (Aucilla.)

Мишо.

Солнце западало за Аппенины; тѣсныя и узкія улицы Болоніи темѣли. По одной изъ нихъ задумчиво и тихо шѣлъ молодой человѣкъ высокаго роста въ длинной черной *тогъ*. Посохъ въ рукѣ, котомка за плечами, ремешья сацдали, и шитый большой крестъ на бѣломъ нагрудникѣ, безошибочно обнаруживали въ немъ пилигрима, возвращающагося изъ дальняго странствованія въ Палестину. Ни красное изношенное полукафташе, въ то время

называемое *birro* и оканчивавшееся вверху кашонономъ (потому что шляпы еще мало были въ употребленіи), ни *subtalares*, или по-теперешнему *zoccoli* — обувь особаго рода, соединившая въ себѣ и нынѣшніе чулки и древнія сандали — ни темнаго цвѣта цѣломудреннаго тога, какъ выражались писатели VIII и IX вѣка, ничто не навело бы сомнѣнія на справедливость догадки. Крестъ, посохъ, пальмовая вѣтка за пономь, утомленная походка, пыль, толстымъ слоемъ покрывавшая всю верхнюю одежду, кроткій, скромный видъ путешественника были убѣдительными доказательствами его смиреннаго званія, болѣе или менѣе общаго тогда всему Христіанствующему міру: Царю и простолюдину, равно вмѣнявшимъ себѣ въ необходимую обязанность, хотя разъ въ жизни, посѣтить Святую Землю, поклониться Гробу Христа.

Путешественникъ, повернувъ изъ улицы на широкую площадку, прилегающую одной стороною къ некрутому берегу рѣки Рено, дошелъ до небольшого монастыря безъ характерной архитектуры, постучался въ каштку и, опершись обѣими руками на

посохъ, склонясь головою, казалось, обречь себя на долгое, терпѣливое ожиданіе; но и привратники того времени были не столь лѣнны и гораздо услужливѣе привратниковъ эпохи ближайшей къ намъ монастырскаго быта, и обращенія которыхъ можно еще и теперь встрѣтить въ любомъ монастырѣ средней Италии. Скоро послышались шаги и шумъ ключей; кашетка отворилась: довольно было быть тогда страшикомъ, имѣть видъ его, чтобы безъ распросовъ найти пріютъ среди уединившейся Христіанствующей братіи; путешественникъ вошелъ и скрылся въ густой каштановой аллеѣ, вмѣстѣ съ привратникомъ.

Болонія дремала, хотя было и не такъ еще поздно, хотя... Но Болонія X вѣка была не то, что теперешняя Болонія, дѣятельная, промышленная, изящная.

Тамъ, гдѣ нынѣ раздвигаются широкія, правильныя улицы, въ X вѣкѣ, и даже послѣ, были едва-ли тѣсныя, грязныя проулки, въ которыхъ съ трудомъ могла иногда пробраться огромная *carroccio* (*), съ своимъ параднымъ

(*) Ferrario.

кортежомъ, съ красивымъ покровомъ, съ тремя гордыми волами въ мантияхъ того же цвѣта, съ своей высокой мачтой, на которой висѣлъ звонкій *palo*, — колоколь, вѣстникъ торжественнаго шествія. Не было и тѣхъ золотыхъ много-этажныхъ *palazo*, съ протяжными арками, безконечными колошадми, которыя, давая городу видъ чего-то монументальнаго, служатъ теперь благодѣтельнымъ навѣсомъ отъ жара и зноя усталому пѣшеходу. Не было и этихъ соборовъ, нынѣ церквей, простирающихся числомъ до 100. Вездѣ видѣлись однѣ лишь пустыри, голыя площади, готовые, конечно, содѣлаться, со временемъ, высокимъ подножіемъ еще болѣе высочайшихъ подвиговъ творческаго зодчества въ вѣка послѣдовавшіе. Соборъ С. Петропія съ его Сибиллами скульптуры Триболо, съ его смѣлымъ меридіаномъ Игнатія Данти и Кассини; Санъ Сальваторе, Сень-Доминико — храмъ Религіи, но вмѣстѣ и искусства, освѣщенный первымъ полетомъ мощнаго генія Микель-Анджело, и увѣнчанный воздушными барельефами Николая Пизанскаго и Альфонса Ломбардскаго; San-Giовани

in monte съ Мадонной al-fresco, гордящеюся своей тысячелѣтнею древностью; — все это, можетъ быть, пѣдрилось въ идеѣ искусства, но долго, долго еще спустя послѣ явилось на позорище изумленного міра; планъ художника не набрасывался, рѣзецъ молчалъ и самые гранитъ и мраморъ, основы великихъ созданій, лежали мертвы въ своихъ могилахъ-каменоломняхъ. Живопись, эта нѣмая, но вмѣстѣ теплая, живая бесѣда души съ природою и Богомъ, еще не зачиналась; кисть, ея могучее орудіе, еще лежала во прахѣ, не омакиваясь въ свѣтъ и зори, не отражаясь на полотнѣ цвѣтами радужными, — и кто бы могъ сказать, что эта Болонія, неизвѣстный почти уголокъ Италіи, будетъ нѣкогда колыбелью и божественнаго Гвидо съ его Мадонной della pieta, въ чертахъ которой не скорбь земли, а скорбь самаго неба; и цѣлаго племени Карраччезъ съ ихъ вдохновенными созданіями: Преображенія, обращенія С. Павла, причащенія С. Иеронима, съ ихъ патриотическими анахронизмами; и славнаго Доминикина съ его С. Агнесой, гдѣ кишеть, движется цѣлая драма, съ его Мадонной,

которой разнообразіе плановъ, колоритъ, энергія, интересъ, жизнь дѣлають изъ неидивную поэму во многихъ пѣсняхъ. Кто думалъ, кто ожидалъ всего этого? Кто могъ предвидѣть, что эта Болонія будетъ почвой, на которой созрѣетъ и разовьется зерно знаменитой школы, достойной соперницы, по силѣ и по самобытности характера, другой школы, Флорентинской? Не было и этихъ сокровищницъ, куда многія столѣтія снесли впоследствии свои достоянія, плоды обильные труда гениальнаго; не было ни драгоценныхъ галлерей Бентивоглио, Фави, Замбекари, Эрколоши, ни Академіи *delle belle arti*, этой гордой и часто слишкомъ строгой оцѣнщицы своихъ первостепенныхъ талантовъ. Въ X вѣкѣ Болонія не раздѣляла личною дѣятельностію дѣль всей Италіи: она терялась въ безднѣ внутреннихъ раздоровъ и междоусобій послѣдней, лишь подавляемыхъ смѣлой плетою пришельцевъ, которыхъ иногда добровольно призывала изъ Германіи и Франціи. Это страшное какъ-бы обыкновеніе начинало уже тогда укореняться, и Римъ, нѣкогда властелинъ міра, доживая свое

тысяцелѣтнее исполнское существованіе, хотя въ разбитомъ ветхомъ тѣлѣ, не могъ управлѣться самъ собою или избраннымъ изъ среды своей, и звалъ охотнѣе полудикаго варвара съ его огнемъ и мечемъ — кровавыми предшественниками — на царство. Болонія, какъ и другіе мелкіе города, принадлежащіе цѣль Церковной Области, входила тогда въ составъ Герцогства Беневентскаго. Часто распри и войны ея владѣтеля съ его не менѣе могущественными соперниками, Герцогами Фриульскимъ и Сполетскимъ; часто перемѣны самыхъ Императоровъ во всей Италиі, Франкскаго на Германскаго, Богемскаго на Баварскаго, Оттона II на III; часто несогласія Духовной власти съ свѣтской, и смуты, которые были его послѣдствіемъ, — все это доходило до Болоніи въ видѣ новости, въ которой она никакого не принимала участія. Болонія не развлекалась какъ-бы общею жизнью того времени, а вмѣстѣ съ тѣмъ первая какъ-бы показала, къ чему назначена и вся Италія — быть хранительницею уцѣлѣвшаго свѣтильника просвѣщенія міра древняго въ самую мрачную эпоху варварства; быть чадомоливкою матерью, вос-

нитательницею вновь зародившихся наукъ и знаній ума человѣческаго. Волею Θεодосія младшаго, а вѣроятнѣе его мудрой ученой жены Атанасы, вмѣстивъ въ себѣ первыя основанія Палаты Разума, какъ называли впоследствии знаменитый Университетъ ея, Болонія была первымъ убѣжищемъ, куда пріютилась вся мудрость, вся ученость древняя, бѣжавшая изъ Рима и Равенны; но и это обозначилось, опредѣлилось уже въ вѣка последовавшіе, а именно въ XI и XII. Но въ описываемую нами эпоху Болонія не носила на себѣ еще печати этого высокаго назначенія, и самый Университетъ, заклепный камень свода всей Европейской учености и belle-lettристики, едва-ли былъ въ то время и порядочной школой. Смотри на это младенствующее, сомнительное ея состояніе въ то время, могло-ли придти въ голову, что вотъ начало, вотъ основаніе почти державы самобытной, могущественной, славной, которая нѣкогда приметъ личное участіе въ крестовыхъ походахъ, покорить Модену, Равену и другіе города Романіи, и погибнетъ лишь отъ опалы, наложивъ ее на своихъ согражданъ и призавъ чуже-

земца, съ которымъ внесеть въ свои стѣны
всѣ бѣдствія холоднаго, корыстолюбиваго,
чуждаго всякаго патриотизма управленія (*).

— Какъ ты перемѣнился, Джуліо! говоришь
привѣтливо маститый старецъ, лѣтъ трид-
цать спасавшійся въ келіи упомянутаго
нами монастыря: — какъ ты перемѣнился!
тебя узнать нельзя.

— Что мудренаго, почтенный Франческо?
три года скитальческой жизни, столько же
тысячъ верстъ перехода, трудности стра-
ствованія — хоть кого перемѣнять.

— Да еще къ тому-же горе, болѣзни души?

— Да, и этого было вдоволь, перебилъ
Джуліо; глубоко вздохнулъ и задумался.

Горе самая звонкая и ту же всѣхъ натя-
нутая струна въ сердцѣ человѣка. Фран-
ческо былъ не радъ, что не-хотя тронулъ ее
въ сердцѣ Джуліо.

— Полно-же, полно, Джуліо. Вотъ тот-
часъ уже хмурится; расскажи лучше, что
слыхалъ, гдѣ побывалъ, что видѣлъ новень-
каго въ Святой Земль? Я четыре раза уже
въ моей жизни ночевалъ въ гостиницѣ До-

(*) Valery.

лины Иосафатовой, а вѣсть о той странѣ сладка, какъ молитва для праведника. Чтò, гоненія на Христіанъ уменьшились-ли хотя немного?

— Всѣ по-прежнему, святой отецъ. Преемники Гакима немилостивѣе своего предшественника, истиннаго бича Христіанскаго.

— Боже мой! Боже мой! воскликнулъ старецъ съ какимъ-то горестнымъ благоговѣніемъ: — когда умилосердишься Ты? Когда всемогущею волею Твоею свершится конецъ угнѣтенія твоихъ же поборниковъ? Когда исторгнется изъ рукъ невѣрныхъ гробъ Божественнаго Твоего Сына? Жемчужина благодати! долго-ли будешь Ты въ вѣщѣ нечестиваго владыки? Когда твои смиренныя поклонники будутъ безпрепятственно прилипать устами къ Твоей священной рукѣ?

— Крестъ крестомъ и искупается, перебилъ Джулио; блаженства Рай не достигнешь безъ страданія и тяжкихъ жертвованій, — а достигнувъ, иначе не оцѣнишь: переходъ къ вѣчной, праведнической жизни все-таки смерть грѣшника.

— Ты правъ, сынъ мой, и молитва моя безъ укора къ Богу и не о себѣ самомъ. Въ оба странствованія мои къ Святымъ Мѣстамъ я не ропталъ и не стоналъ на угнѣтенія, обиды, даже плѣнь, случившійся со мной въ первомъ путешествіи; я молилъ объ одномъ Всевышнему, чтобы онъ сподобилъ меня, хотя и этимъ путемъ терновымъ, достигнуть до божественнаго его вертограда.

— И молитва была услышана?

— Въ то же самое почти время, сынъ мой, какой-то богатый Графъ изъ Пиемонта, у самыхъ вратъ Иерусалима заплатилъ требуемый за меня выкупъ, — и взялъ въ свою свиту.

— И какъ сладокъ былъ переходъ отъ скорби къ радости! какъ весело блеснуль въ душѣ лучъ надежды исполненія давно-волновавшаго желанія!

— О какъ весело! — повторилъ почти въ восторгъ старецъ, восхищенный воспоминаніемъ давно уже минувшихъ событий.

— Джуліо отвѣчалъ, казалось, принужденною улыбкою на восторженную рѣчь старца и замолкъ, погрузясь мыслію въ самого

себя. Франческо, вынувъ изъ чернаго деревяннаго шкапа свои напутныя записки, сталъ перечитывать пергаментныя листки тетради.

Желанію - ли сберечь воспоминанія для себя, извинительному - ли тщеславію сохранить память о себѣ для другихъ, чему бы не было приписано обыкновеніе, которое сильно уже начинало вводиться между шмигринами того времени, но мы обязаны ему многими любопытными извѣстіями, многими занимательными свѣдѣніями и о политикѣ того времени и о пути, который велъ къ ней изъ Европы.

Франческо былъ углубленъ въ свое занятіе. — Улыбка то разсвѣчивалась на почтенномъ лицѣ его и разглаживала морщины на бѣломъ лоснящемся челѣ, то сбѣгала, стонидлась грустью, которая висла вдругъ на вѣкахъ и стягивала его густыя посѣдѣлыя брови; часто, положивъ тетрадь, онъ чертилъ пальцемъ по столу, и движеніями его какъ-бы хотѣлъ именно припомнить себѣ пути своего странствованія; иногда, прочитывая нѣкоторыя мѣста, вдругъ останавливался, качалъ головою, вставалъ, бралъ

свое деревянное перо, которое очень походило на Азіатскій кельшъ, вычершываль, прищсываль, говоря: «впрочемъ, мы повѣримъ, мы прочтемъ вмѣстѣ съ Джуліо,» и снова продолжалъ съ прежнимъ вниманіемъ свое чтеніе. Время шло за полночь, старецъ не отрывался еще отъ работы; вдругъ неожиданное восклицаніе Джуліо развлекло его.

— Боже мой! зачѣмъ не всѣхъ такъ съютчны желанія, зачѣмъ не каждому сужденъ тихій, мирный бытъ отшельника?

— А, Джуліо, ты не спишь еще; я думалъ, что усталость взяла свое и сонъ смежилъ твои очи. Успокойся, съешь мой, отдохни, прилягъ на мое ложе.

— Благодарю, Франческо. Сонъ не другъ мятежному духу; онъ бѣжитъ его и оставляетъ одни лишь тяжкія тревожныя сновидѣнія.

— Джуліо! что съ тобою? Ты по-прежнему мраченъ, ропщешь: неужели благодать Божія не осѣнила тебя? неужели ты не излечился отъ твоего недуга сердца? брось плоть и землю, ты видѣлъ начало неба, ты удостоился взглянуть на Палестину.

— Отецъ мой! тайная скорбь по-прежнему сѣдаетъ меня; моя колыбель счастья по-прежнему въ стѣнахъ этого города у подношья Аппенинской. . . . О Франческо! Я думалъ, что, вилвъ твоему совѣту, свершивъ странническій путь, я отоюду отъ этого міра со всѣми его побужденіями, отвлекусь отъ образа земнаго. Нѣтъ, старецъ, онъ никогда не переставалъ преслѣдовать меня всюду. Какъ теперь смотрю, когда, наплывъ корабль въ Константинополь, мы вспѣшли волны Босфора. Въ одинъ вечеръ нашего плаванія, на бирюзовой полосѣ неба, изъ переломленныхъ лучей солнца, облаками вдругъ воздвигся блестящій призракъ; ясно горѣли крестообразные снопы свѣта, далеко взлетали огненныя искры. . . . Вдругъ облако гуще, гуще — и отуманило видѣніе. Прикованный къ нему вниманіемъ, я неподвижно на палубѣ слѣдилъ за мгновеніями. . . . одно, другое, прошла туча и явился новый образъ, дивный образъ женщины; смотрю — то былъ образъ Біанки, моей милой, ненаглядной Біанки. . . .

— Несчастный, злополучный юноша! — повторялъ вполголоса Франческо.

— Въ другой разъ, — продолжалъ Джулио, — о, какъ свѣжо я помню одно изъ пробужденій въ Святомъ Градѣ, когда, сбросивъ съ себя розовые покровы зари утренней, градъ Соломоновъ предсталъ очамъ моимъ во всемъ блескѣ, во всемъ величїи своей тройственнотысячелѣтней древности! Я помню ясно мою жажду, мое желаніе: показать этотъ торжественный видъ моей милой, моей Біанкѣ, — желаніе, которое почти осуществилось въ видѣнїи. Мнѣ казалось, что она была около меня, что она слѣдила за моимъ взоромъ, обтекала за нимъ по озлащеннымъ верхамъ древняго Сїона, чертоговъ Давыда и Соломона, блуждала въ безконечной колоннадѣ базилика Императора Константина, прикасалась устами къ источнику Силуамскому.

— Волненіе, волненіе крови! — перебилъ тихо Франческо.

— Да, почтенный старецъ, то была мечта, созданная моею же страстью, которою налитано все существо мое, проникнуть весь умъ, воображеніе и чувства. И какъ грустно было пробужденіе отъ сна мечтательнаго! Грѣховныя ощущенія, сказалъ-бы ты, зако-

лыхались въ моемъ сердцѣ. Да, Франческо, въ эту минуту, въ это мгновеніе я бы охотно оторвалъ душу отъ этого слишкомъ живучаго тѣла.

— Біанка! Біанка! ты не ждешь меня со слезами!—воскликнулъ Джуліо:—ты погребла меня въ твоихъ мысляхъ; давно замерли уже, можетъ быть, твои ожиданія. Нѣтъ, Біанка; я здѣсь, я опять буду съ тобою; ты увидишь меня.

— Сынъ мой, бѣдный Джуліо! — говорилъ Франческо, бросивъ свои пергаменты и подоидя къ нему: — бѣдный Джуліо, будь твердымъ мужемъ, успокойся, снеси тяжкій крестъ испытанія. Слезы и отчаяніе — достояніе душъ слабыхъ; укрѣпись.

— Укрѣпись! — повторилъ Джуліо, какъ будто оскорбленный утѣшеніями старца. — Гдѣ мой врагъ, противъ котораго ты совѣтуешь мнѣ укрѣпиться? Люди, свѣтъ, приличіе — я презираю ихъ Нѣтъ, пошло идти трусливой тропой смиренія и кротости! я вырву изъ рукъ ихъ силой, что вымаливали словами и убѣжденіями. Боже! Боже! когда Ты былъ противъ счастья человѣка? онъ самъ его разрушитель. Одинъ стере-

жеть, скрываетъ за рѣшетками мою жемчужину, мое сокровище; другой удаляетъ меня на три года изъ родины въ страны далекія, гдѣ опасности, лишенія, смерть — мои спутники.

— Сынъ мой! — перебилъ Франческо, встревоженный почти-горячечнымъ состояніемъ своего воспитанника: — что за языкъ! укроти, умѣрь слова твои.

— Языкъ мужа, сбросившаго съ себя пеленки дѣтства и задумавшаго свершить давно начатое дѣло. Франческо, скажи мнѣ одно только: жива ли Біанка?

Франческо наморщилъ брови и отошелъ отъ шпигрима.

— Жива ли она? скажи мнѣ, умоляю тебя, старецъ! — воскликнулъ Джуліо, схвативъ за руку Франческо.

— Для міра нѣтъ, для жизни Богъ знаетъ, — отвѣчалъ протяжно старецъ, и занялся снова своими пергаментами.

Какъ пораженный громомъ, Джуліо опустилъ руку отшельника и припалъ съ воплемъ на изголовье постели.

Джулио остался сиротой послѣ отца и матери, и съ рукъ на руки былъ переданъ Франческо, другу и дальнему родственнику перваго. Свѣтлая душа, счастливейшій способности, прекрасная наружность Джулио — все машило, привязывало къ нему старца. Сперва младенческое лепетаніе малютки оживляло мрачные своды кельи отшельника, напоминало ему и жизнь и начало ея развитія, и первое бѣеніе сердца, и первую мысль, первое сознаніе своего существованія: — воспоминанія отрадныя, милья, можетъ быть иногда и при всемъ желаніи позабыть ихъ, потомъ заботы воспитанія, попеченія и матери и отца, обязанности пѣнныя, святыя, которыя сшивались въ обязанности, принятой на себя почтеннымъ старцемъ; наконецъ ученіе, наука — потребность и тогда уже сильно ощущаемая, тѣмъ болѣе что она была такъ близка любимой мысли, завѣтному желанію Франчески, сдѣлать со временемъ изъ Джулио ревностнѣйшаго члена Духовенства, почетнѣйшаго, важнѣйшаго въ то время званія во всей Европѣ.

Лѣтъ за девять до этого, окончивъ

торговьи дѣла свои въ Амальфи, вернулся въ Болоню одинъ изъ богатыхъ и извѣстныхъ ея уроженцевъ, съ своею малолѣтнею дочерью. Сношенія съ монастыремъ, доставка нѣкоторыхъ утварей сблизили Себастіана Риччи со всемъ монастырскимъ причетомъ; Франческо былъ въ числѣ почетныхъ и взысканныхъ; умная бесѣда старца, рассказы любопытныхъ странствованій, знаніе мѣстъ, нѣкогда посѣщаемыхъ Себастіаномъ Риччи, и самыхъ дѣлъ и оборотовъ, въ которые иногда, по необходимости, вникалъ Франческо; общій характеръ предприимчивости, такъ далеко иногда бросавшій ихъ въ юности отъ родины — все это вмѣстѣ содѣйствовало дружбѣ и связи, день ото дня болѣе и болѣе укоренявшейся между ними. Франческо, часто посѣщая Себастіана, приводилъ съ собою и своего воспитанника. Маленькій Джуліо былъ однихъ почти лѣтъ съ Біанкой, дочерью Себастіана. Одинаковость возрастовъ, игры, этотъ безконечный рядъ услужливостей, уступокъ, привѣтовъ, ласокъ, уединеніе отъ остальнаго, даже дѣтскаго міра, — все это содѣйствовало, можетъ быть, раз-

витію симпатіи между двумя созданіями, назначенными и природою по характерамъ, привычкамъ, наклонностямъ, и случаемъ — по печальному ихъ сближенію, — принадлежать нѣкогда другъ другу.

На Югѣ любовь цвѣтеть скоро, цвѣтеть роскошно, ароматически, какъ кактусъ: едва зародясь въ золотой чашечкѣ, пышетъ уже огненнымъ цвѣтомъ, дышетъ алоемъ, мускусомъ, красуется махровымъ широкимъ разводомъ бѣлоснѣжныхъ листьевъ: но вмѣстѣ съ этимъ пышнымъ распусканіемъ цвѣтка лежитъ тягость, какъ-бы уже грусть на немъ: онъ увядаетъ скоро... То ли же чувство набѣжало тучкой на маленькія лички двухъ маютокъ, когда впервые сердца Джуліо и Біанки забились другъ къ другу любовью, или предчувствіе, можетъ быть, недостигаемости блаженства рая, врата котораго раскрыли передъ ними природа и случай; но вы сказали-бы, что то были два генія, отбившіеся отъ цѣлой группы Пуссена, пріостановившіе на время свои воздушныя, небесныя забавы, и плачущіе на прахъ умершаго одного изъ своихъ собратій.

Прошло нѣсколько лѣтъ этой взаимной, невольнѣ пошмаемой страсти; юность простилась съ дѣтствомъ. О, какъ звонко тогда начали раздаваться первые поцѣлуи этихъ двухъ любящихся созданий: то были поцѣлуи Бенгальскаго зяблика съ Яванской розой. Сколько привѣту, ласки, дружбы выливалось въ братскомъ объятіи, въ тихомъ ангельскомъ взорѣ Біанки! какинъ огнемъ, еще цѣломудреннѣмъ, горѣли очи юнаго, но пылкаго уже Итальянца. При отдачѣ этихъ пожатій, обниманій, поцѣлуевъ, старики смотрѣли на нихъ какъ на сестру и брата, не видя въ этой привязанности ничего предосудительнаго, смотрѣли, не замѣчая многоаго. Да и до того-ли было! Звуки поцѣлуевъ влюбленныхъ терялись въ не менѣе звонкихъ воспоминаніяхъ о золотыхъ *бигантингахъ*, нѣкогда кучами сносимыхъ къ Себастьяну еще въ Амальфи, за мѣха, крашеные кошенилью и дымчатой краской, за матеріи *cristocclavi*, *augocclavi*, *amiti*, *demiti*, *trimiti*, отъ которыхъ теперь остались одни безсмысленныя названія, по которымъ тогда торговалъ Риччи. Страстные взгляды Джуліо ускользали отъ вниманія посѣдѣлыхъ себе-

сѣдшиковъ, занятыхъ разговоромъ, о торжественномъ коронованіи Оттона III, въ Моизѣ, или о бунтѣ Консула Криченція и бѣгствѣ Папы Григорія V, — событіяхъ современныхъ, и толки о которыхъ раздавались тогда въ цѣлой Итали. Ласки, заботливость Біанки, уже болѣе чѣмъ дѣтскія, болѣе чѣмъ сестры къ брату — были однако же слишкомъ еще непорочны, невишны, чтобы вселить кому бы то ни было опасенія.

У Себастіана Риччи была прекрасная вилла, въ недалекомъ разстояніи отъ Болонни, въ долину между зеленыхъ холмовъ, составлявшихъ предгоріе Аппениновъ; сюда-то часто прихаживалъ къ нему Франческо раздѣлять бесѣдой часы уединенной, хотя со всѣми удобствами и прихотями сельской жизни, а Джулио прибѣгалъ изъ школы навѣдаться, высказать свою любовь, вымолить поцѣлуй у Біанки.

Въ одинъ лѣтній вечеръ оба старика ходили по аллеѣ сада, разсуждал, перебрасываясь мыслями о Болонни, ея Исторіи, настоящемъ состояніи, будущемъ назначеніи, — вдругъ въ пересѣкающей аллеѣ послышались тихіе шаги, потомъ голоса — то были Джулио и Біанка. Они разговаривали между собою,

не подозрѣвая, что могутъ быть подслушаны; жаръ и пылкость ихъ разговора привлекли вниманіе стариковъ.

— Я не узнаю тебя, Джуліо, — говорила Біанка: — ты сдѣлался грустенъ, задумчивъ, молчаливъ, тогда-какъ бывало прежде твои уста не умолкали для привѣтствій Біанки, твоя восторженная рѣчь лилась похвалами и этимъ золотымъ померанцамъ, и этимъ розамъ, и этому величественному виду Аннениновъ; а теперь ничто не вырветъ твоего восхищенія, ничто не вымолитъ улыбки, слова, и Біанка, твоя Біанка, какъ-бы забыта; рука ея выпадаетъ изъ твоей — холодною, не отогрѣтою поцѣлуемъ.

— Ахъ, Біанка, Біанка! — перебилъ Джуліо: — зачѣмъ эти упреки? заслужилъ ли я ихъ? О, еслибы ты знала, что грызетъ теперь мое сердце, ты пощадила бы меня. Было время когда эта померанцовая роца была для меня юдолью восторговъ, убѣжищемъ наполненнымъ свѣтлыми видѣніями и — посреди ихъ витала ты, Біанка, какъ добрый мой гений. Въ пылу смѣлой мечтательности я мнилъ, что этотъ небожитель былъ посланъ мнѣ изъ своей горней родины, съ увѣренностью я

называлъ тебя моею, — а теперь, теперь эта фантазія туманится сомнѣніемъ, какимъ-то горькимъ предчувствіемъ, что тебя вырвутъ изъ рукъ моихъ, и отдадутъ другому.

Встревоженный Себастиано сжалъ руку Франчески: почтенный старецъ не двигался, не дышалъ, боясь прослышать слова своего воспитанника.

— Никогда, никогда, Джуліо, никто не разлучитъ насъ, — говорила Біанка, обвивая его своими ручками: — и отчего эти опасенія? зачѣмъ, кому разлучитъ насъ? я буду вѣкъ съ тобой, вѣкъ твоею, клянусь, клянусь тебѣ, Джуліо.

— Слышишь, Франческо, почти задыхался, проговорилъ шопотомъ Себастиано.

— Дѣтскія клятвы, дѣтскія клятвы! — отвѣчала съ спокойной улыбкой Франческо.

— Милая Біанка!

— Добрый Джуліо!

Продолжительный поцѣлуй послѣдовалъ за привѣтствіями, и юные любовники пошли далѣе отъ мѣста ихъ объясненія по длинной померанцовой аллеѣ.

Старики остались, и Себастиано первый нарушилъ молчаніе.

— Что дѣлать, Франческо! я ошибся, очень ошибся, что не предупредилъ тебя.

— А что такое? спросилъ Франческо.

— Какъ, что такое? — Біанка никогда не можетъ принадлежать Джулио. На дняхъ прїѣдетъ ея нареченный, — я связанъ роковымъ, честнымъ словомъ.

— Да развѣ кто-нибудь и что-нибудь противъ твоей воли, твоего желанія?

— Разумѣется, теперь почти всё противъ. Мы до нынѣшняго вечера смотрѣли на эту привязанность между Біанкой и Джулио сквозь пальцы; намъ казалась она дружбой дѣтства; но шагъ скользокъ, одна лишняя служилъ переходомъ отъ одного чувства къ другому, — разъ за рубежъ: голубки дѣлаются аистами, и съ ними не сладить.

— Твои опасенія неосновательны.

— Напротивъ, болѣе чѣмъ основательны. Я глупецъ потерялъ совершенно изъ виду судьбу моей Біанки, забылъ про нее, или, лучше, былъ увѣренъ, что ничто не повредитъ ей: ждалъ ли я, что бѣднякъ, слѣпой кротъ выроетъ нору на моемъ полѣ!

— Себастьяно, — перебилъ Франческо: —

за что-же оскорблять молодаго Джуліо, онъ слышь моего друга.

— А развѣ я менѣе другъ тебѣ, развѣ Біанка менѣе дочь моя?

Старики разсташьсь, почти негодуя другъ на друга.

На другой день, сверхъ занятій по школь, Франческо надавалъ Джуліо бездну темъ на диссертации и столько же переводовъ изъ древнихъ авторовъ. Окончивъ работу къ вечеру, на вопросъ о позволеніи итти въ виллу къ Себастіано Риччи — рѣшительное «нѣтъ» было отвѣтомъ; Джуліо просился день, два, три, недѣлю — та же невозможность, тѣ же запрещенія. Пылкій Итальянецъ не выдержалъ, успѣлъ тайно свидѣться съ Біанкой, узналъ отъ нея причину страннаго поведенія своего воспитателя, но по несчастію встрѣтился съ ея отцомъ, отъ котораго принужденъ былъ выслушать самый оскорбительный отказъ въ правѣ посѣщать его домъ и видѣться съ Біанкой.

Огненный Итальянецъ дрожалъ отъ гнѣва, въ пылу негодованія былъ готовъ посягнуть на многое: сѣдины едва могли спасти Себастіано отъ мщенія Джуліо; но онъ простилъ

все изъ любви къ Біанкѣ и вышелъ изъ дому, не вымолвивъ ни одного противорѣчія.

Франческо уговаривалъ своего воспитанника, но безуспѣшно; совѣты и увѣщанія сыпались бесполезно, какъ искры съ закаленного любовью сердца, не освѣщая никакого убѣжденія, не воспламеняя ни малѣйшаго желанія имъ послѣдовать. Джуліо сдѣлался мраченъ, угрюмъ, бросилъ всѣ ученія свои занятія. Съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣлъ Франческо на разрушеніе всѣхъ своихъ замысловъ — посвятить современемъ Джуліо духовному званію, тѣмъ болѣе что выполненіе его плановъ заручалось успѣхами воспитанника: въ 19 лѣтъ онъ былъ уже на счету извѣстныхъ Богослововъ въ Болонні. Теперь Джуліо не ходилъ на лекціи, по цѣлымъ днямъ не навѣщалъ кельи своего воспитателя, чуждался людей, бѣгалъ своихъ товарищей; но, не смотря на всѣ запрещенія, не переставалъ преслѣдовать, гдѣ только былъ случай, Біанку. Черезъ нѣскольکو времени Франческо и Себастьяно свидѣлись.

— Что вашъ воспитанникъ?

— Что ваша дочь?

— Франческо!

— Себастьяно!

И старики со слезами упали другъ другу на грудь.

— Франческо, мы по-прежнему друзья съ тобою?

— Да, да, — отвѣчалъ сквозь слезы умиленный отшельникъ.

— Люди въ преклонныя лѣта не для того сходятся, сблизжаются другъ съ другомъ, чтобы эта связь могла разорваться между ними отъ какого-нибудь печальнаго случая?

— Да, ты правъ Себастьяно.

— Мы съ тобой друзья?

— До могилы!

Старики успокоились и присѣли подъ вѣтвистымъ каштановымъ деревомъ.

— Франческо, у меня къ тебѣ завѣтная просьба.

— Какая?

— Помоги мнѣ быть честнымъ человекомъ, помоги мнѣ сдержать слово Себастьяно Риччи. — 15 лѣтъ назадъ я плылъ въ своемъ *carabella* къ берегамъ Италіи; все достояніе мое, весь плодъ многолѣтнихъ, тяжелыхъ трудовъ, къ которымъ

привязывались все цѣли моей жизни, все существованіе мое и малютки дочери, оставшейся во время моего плаванія у одной дальней родственницы нашей въ Амальфи, было со мною. Въ одно утро на зарѣ, среди тумана, не разбѣжавшагося еще отъ лучей солнца, напали на меня пираты, начальствуемые жадными къ добычѣ Греками; долго, упорно бился я, защищая и жизнь и собственность, но долженъ былъ наконецъ уступить силѣ. — Вдругъ, откуда не возмись Дромонъ (*) съ храбрымъ знакомымъ мнѣ Луиджи, его начальникомъ; смѣлый, удачный натискъ — и я былъ спасенъ. Еще тамъ, въ ту же самую минуту, въ пылу моей признательности, я предлагалъ ему половину своего достоянія; Луиджи отказался; я вспомнилъ о его сынѣ, о моей дочери, высказалъ свое желаніе: женить ихъ, и бросилъ на себя первое званіе клятвы, которою, какъ цѣпью, сковала меня благодарность. — Франческо, помоги мнѣ быть благодарнымъ. . . .

— Какимъ-образомъ?

(*) Des Michels.

— Пусть Джулио навремя будетъ жертвой. . .

Франческо, встревожась, привсталъ съ мѣста.

— Не пугайся, другъ мой! — продолжалъ Себастиано: не пугайся; необходимо лишь отдалить его на нѣсколько времени, и ты можешь это сдѣлать.

— Какимъ же образомъ, куда?

— Съ его пылкимъ и предприимчивымъ воображеніемъ, съ его религіозными правилами, которыя несомнѣнно успѣлъ ты поселить въ сердце Джулио, путешествіе въ Палестину было-бы и торжественнымъ окончаніемъ того духовнаго назначенія, которое ты хотѣлъ ему дать, и вмѣстѣ средствомъ удаленія отъ предмета его искушеній. Франческо, надобно быть рѣшительнымъ; подумай, всмотришь въ дѣло, не откажи просьбѣ друга.

— Попробую, попробую, — повторялъ Франческо: и мысль объ этомъ странствованіи есть уже благодать Божія, а выполненіе. . . .

— Не затрудняйся въ способахъ; я окажу всякое пособіе: дѣло общее. . . .

— Что за способы? Средства неважны: страничекій посохъ, котомка, но главное — добрая воля, благодать Божія; ихъ не купишь ни за какія сокровища въ мірѣ, не передашь никакою человѣческою силою.

— Богъ за доброе дѣло!

— За правое. . .

На дальнемъ небосводѣ сторѣла заря вечера, неоставивъ и огненной полосы слѣдомъ пожара. Легла ночь на Апеннины не блѣдная, больная ночь сѣвера, а полная жизни и свѣжести ночь юга; только что выплывшій мѣсяцъ, выбиваясь изъ-за тучъ, не освѣщала ея темныхъ покрововъ. Стихло все: и шелестъ листьевъ, и дуновение зефира, и жужжаніе вечернихъ бабочекъ; одна беззвучная гармонія лилась въ воздухъ.

Въ той-же виллѣ, въ той-же померанцовой аллеѣ сидѣла осиротѣвшая Біанка. Кто-бы узналъ теперь Біанку, игривую, веселую подругу Джуліо! Тоска по миломъ сжавила сердце, вытѣснивъ всѣ живыя, радостныя ощущенія. Грусть лежала тѣнью на блѣдномъ, похудѣломъ лицѣ; глаза полные огня и жизни потухли отъ слезъ; какал-то важ-

ность, и вмѣстѣ медленность проявлялись въ ея движеніяхъ; она устала, утомилась отъ горя; безнадежность принадлежать избранному сердцемъ межлась въ ея взорѣ съ рѣшимостью не принадлежать никому другому; опущенныя руки какъ бы сучали по братскимъ объятіямъ; розовыя уста поблекли, неосвѣжаясь поцѣлуями друга; какая-то внутренняя болѣзнь ржавчиной прививалась къ груди, точила и сѣдала нѣжное тѣло, разрушая непримѣтно юную, только-что сложившуюся организацію.

Лучь мѣсяца проникъ сквозь вѣтви дерева и освѣтилъ одинокую красавицу. Откинувъ черную косу, которая, по обычаю дѣвицъ того времени, падала незаплетенною на плеча, поправивъ бѣлую *сotonu*, перехваченную чернымъ поясомъ, Біанка встала, взяла ушко на мѣсяць, тяжкая дума скатилась слезой съ ея взгляда и вылилась грустною рѣчью.

— Ночь, ночь, — говорила она, — будь вѣшною, не сходи съ усыпленной земли. Я люблю тебя, темная! въ тебѣ такъ много общаго съ мрачною судьбой Біанки. . .

Чего ждешь ты неподвижно, серебристая луна на небѣ? чего ждешь? чего жду я, безотрадная, безнадежная страдалица на землѣ? . . . Будь неподвижной, моя добрая, услужливая спутница; можетъ быть, умиленный твоими чарами, взволнованный мятежнымъ сновидѣнемъ, милый другъ, изъ страны далекой, съ тѣмъ-же чувствомъ, съ той же мыслію взглянетъ на тебя; тогда взоры наши сойдутся, и эта встрѣча будетъ сладкой встрѣчей двухъ душъ на небѣ, перешагнувшихъ уже чрезъ земную преграду. Пусть, смотря на тебя, онъ прочтетъ на твоихъ складкахъ, свѣтлыхъ и темныхъ пятнахъ, какъ на страницахъ бытописанія, исторію моей души и сердца! Отрази ему огненными точками тѣ жгучія слезы, которыя лью я въ разлукѣ съ нимъ. На тебя же смотря въ послѣднее свиданіе, клялась я любить его вѣчно: повѣдай ему вѣрна-ли я этой клятвѣ. . . «Не плачь, Біанка, не плачь,» говорилъ онъ мнѣ разставаясь, и въ этомъ словѣ, въ этомъ увѣщаніи звучитъ для меня до сихъ поръ голосъ какой-то отрадной надежды. О надежда! надежда! позолота су-

ществованія! не покидай грустнаго сѣда
 моеѣ жизни, но и не мани насмѣшливо
 твоими несбыточными обѣщаніями. Горько
 разочарованіе, убійственнѣе самаго отчая-
 нія! Онъ молится, можетъ быть, въ
 эту минуту. Счастливъ жребій молящагося!
 молитва мгновеніе отъ вѣчной, духовной
 жизни, молитва утѣшеніе страдающаго
 Молись Джуліо, молись. — А я! а я!

Біанка зарыдала и, отведи взоры отъ мѣ-
 сяца, пошла по аллеѣ.

Простившись съ Джуліо, на вѣкъ мо-
 жетъ быть лишаясь друга, не смотря на
 всѣ увѣщанія, мольбы, даже угрозы отца,
 она не измѣнила своей клятвѣ.

— Біанка, — говорилъ Себастьяно: мои
 сѣдины стѣлятъ уваженія, мои убѣжденія тво-
 его вниманія; пожертвуй твоею дѣтскою
 привязанностью моему благоразумному вы-
 бору, забудь Джуліо.

— Вырвите, батюшка, память, душу, сер-
 дце и то чувство, которое живетъ въ немъ
 къ моему другу дѣтства; отдайте холодный
 трупъ вашей Біанки вамъ избранному ей
 мужу, и если этотъ безжизненный, безобраз-
 ный трупъ будетъ имѣть какую-нибудь цѣ-

пу, то есть еще средство примириться съ вашей волей: я буду послушна. . . .

— Біанка, не раздражай меня. Я могу выйти изъ себя, позабыть обязанности отца.

— Я первая напомню ему его права на непослушную дочь. Я готова на все, я въ волю вашей. . . .

— Біанка, помоги мнѣ сохранить доброе имя, примирить совѣсть съ Богомъ. О, какой тяжкій грѣхъ кладешь ты на душу твоему престарѣлому отцу! какъ предстанеть онъ предъ лицомъ Справедливаго? О, близокъ, близокъ часъ суду. . . .

— Отецъ, отецъ мой! — восклицала Біанка, осьпая поцѣлуями колѣна старца: — я умолю Всевышняго, слезами омою свой укоризненный проступокъ, предъ лицомъ цѣлаго міра сознаюсь непослушной дочерью, торжественно сознаюсь въ преступленіи, но не разстанусь съ любовью къ Джуліо. . . .

Вскорѣ пріѣхалъ нареченный ея женихъ; дасковыя рѣчи, пошлыя привѣтствія богатаго Амальѣйца встрѣчали одни суровые, холодные отвѣты, и наконецъ лестное предложеніе для всякой другой дѣвушки здѣсь было уничтожено рѣшительнымъ отказомъ:

разстроенный Одоардо въ своихъ самонадѣльныхъ предположеніяхъ сухо разстался съ Себастьяно-Риччи, и тотчасъ же вернулся въ Амальфи.

Старикъ огорчался оскорбительнымъ для него непослушаніемъ дочери и тяжело вздыхалъ при мысли, что скажутъ про него въ Амальфи, по привычкѣ дорожа еще мнѣніемъ этой второй его родины, мнѣніемъ, которое начинало уже образоваться въ вольномъ торговомъ городѣ — цивилизаціи новаго рода, цивилизаціи Европейской.

— Конечно, это не коммерческая сдѣлка, говорилъ онъ: подрыву не будетъ кредиту, но всё-таки слово... Хорошо-же, упрямецъ! Не смотря на всѣ мои мѣры, ты сдѣлала, что я не сдержалъ его: не бывать и по твоему, не бывать тебѣ за Джуліо, не видать его тебѣ, какъ мнѣ Амальфи. Франческо! (а Франческо по-прежнему не переставалъ навѣщать его), Франческо, другъ мой! когда вернется Джуліо, предупреди меня, и на вопросъ его: гдѣ Біанка? скажи, что она отказалась отъ свѣта. Я не хочу, чтобы они когда-нибудь опять сошлись между собою; ихъ первая встрѣча была корнемъ

зла, прощальная укореиенемъ, а встреча послѣ разлуки можетъ быть торжествомъ... Не бывать тому! Скажи, что волею отца ея она заточена въ одну изъ монастырей женскихъ; волею отца—а что эта воля? много очень дорожить она ею... Непослушная! Я обреку тебя на вѣчное одиночество, не будетъ моего благословенія; холодность и безстрастное, равнодушное обращеніе довершать наказаніе.

И Біанка была брошена въ виллѣ, подъ строгимъ надзоромъ дальней родственницы, среди горестныхъ своихъ воспоминаній, среди грустныхъ собесѣдниковъ: старой тетки, еще уцѣлѣвшемъ, хотя и обветшаломъ уже типѣ матроны Римской, безмолвной померанцевой роши и унылаго мѣсяца, съ его полублистательнымъ ходомъ, полусвѣтлымъ и неяснымъ, какъ ея надежда, и затемняемымъ тучею, какъ ея надежда, горькою дѣйствительностью.

Быль вѣкъ въ жизни рода человѣческаго, или, опредѣлительнѣе, его представитель, міръ Христіанскомъ, который безошибочно можно назвать вѣкомъ замиранія: это вѣкъ X.

Конечно, люди не переставали жить, члены обществъ не переставали двигаться, на основаніи началъ древняго порядка вещей, оставленнаго и міромъ Греческимъ и міромъ Римскимъ, и тѣхъ новыхъ, которыя были внесены и дикаремъ Германцемъ и идеею Христіанина; народы и государства запада, въ своихъ полуобразовавшихся началахъ, не переставали развиваться хотя лѣнливо, медленно, вяло, — но въ X-мъ вѣкѣ вся эта масса и дѣятелей, и результатовъ, и причинъ, и явленій, и жизни нравственной, и жизни общественной, и жизни политической, была поражена идеею смерти: человекъ, Христіанинъ той эпохи, готовился перейти отъ праха къ вѣчности, готовился предстать съ своими дѣлами на судъ Справедливаго, и со дня на день, съ часу на часъ, ждалъ конца міра. Эпоха извѣстна въ Исторіи. Казалось, что необходимо было затнѣе въ дѣятельности; отрицательное, слабое, безхарактерное вліяніе человека этой эпохи на дѣла современнаго ему міра, не должны были нарушать, да и не нарушали торжественнаго покоя, подѣ эгидой котораго какъ-бы образовывались, сливались стихіи

новаго міра, новаго порядка вещей, и чтобы уничтожить всякую возможность даже само-бытнаго вліянія челоуѣка на эту колоссальную переработку фактовъ, имъ-же брошен-ныхъ, его умъ, душа, способности, воля были убиты идеею смерти; все дѣлалось, со-вершалось какъ-бы безъ участія, и въ самую-то, можетъ быть, дѣятельную эпоху началъ новой жизни, онъ ожидалъ съ боязнію конца своей и всего міра.

«Страшно взглянуть,» говоритъ одинъ изъ знаменитыхъ новѣйшихъ Историковъ, «на то состояніе разстройства, въ которое бро-сила эта идея о концѣ міра тогдашнее Евро-пейское общество. Всѣ обыкновенные дѣя-тели и двигатели жизни уничтожились, изсякли, или были замѣнены другими, про-тиворѣчащими, недостигающими цѣли; всѣ страсти смолкли; мелочное, настоящее терялось, исчезало въ безграничномъ, громадномъ будущемъ; подвиги тѣла и ума совершались безъ цѣли, кромѣ вѣ-рующаго, труждавшагося о спасеніи души своей; всѣ заботы о земномъ были-бы без-смысленными; всякой памятникъ для буду-щаго, каждая хрощка для потомства, ко-

тому не должно было существовать болѣе, показались бы грѣхомъ тяжкимъ, явнымъ признакомъ невѣрія (*).»

Италія, средоточіе хотя отрицательной жизни запада того времени, отражала въ себѣ и эту страшную идею конца міра, какъ въ фокусѣ; рѣзче, тѣснѣе сливались огненные лучи предубѣжденія на ея металлической груди, закаленной въ горниль кровавыхъ, разрушительныхъ событій, и, разбѣгаясь изъ центра, жгли и пепелили все вокругъ. Италія походила на вновь-опустошенную варварами Италію, на обширный монастырь, въ которомъ заключился весь міръ, все житейское, земное, на кладбищѣ заживо схоронившаго себя народа.

Очи пламеннаго Италіянца, изъ которыхъ лавой стремились страсти, медленно, боязливо поднимались къ небу и ждали на темной полосѣ его проблеска надежды на прощеніе; мятежныя, нетерпѣливыя движенія гордаго властелина, не носившаго еще званія podesta, но имѣвшаго всѣ права, вѣсь и важность его въ народѣ, смирились

(*) Simon de Sismondi.

до унижительной поступи и движень *маснада* (*masnada*); богачь подавалъ руку бѣдняку, просилъ его дружбы и умолялъ объ одномъ: не укорять его за прежнюю роскошь и богатство; точные, но некрасивые списки Апокалипсиса согнали съ полки ученаго того времени Платоновъ и Аристотелей, разряженныхъ въ ихъ озацненные пергамены; хвастеровъ-восторженникъ Гомера сдѣлался скромнымъ истолкователемъ проповѣдей и поученій, — и самый языкъ, который чрезъ три вѣка потомъ такъ роскошно настраился для звонкаго, могучаго напѣва божественнаго Данта и въ эту эпоху зачинавшій уже свое звучное, поэтическое преобразованіе, вдругъ въ самомъ началѣ стихъ, замеръ и опять уступилъ мѣсто Латинскому, искаженному нарѣчіями Франконскимъ и Провансальскимъ; Италия, только - что воспрянувъ ото сна въ мрачную ночь варваровъ, улеглась вновь еще болѣе сномъ непробуднымъ ночи еще мрачнѣйшей, ночи предубѣжденія и суевѣрнаго страха.

Страшно ссыпалась для челоуѣчества еще тысяча лѣтъ съ сѣдой вѣчности; громовымъ

ударомъ раздался вѣковой перебой на часахъ жизни міра: настала годъ его кончины

Къ исходу лѣтняго мѣсяца въ одно послѣобѣда, Болонія, отслушавъ вечерню въ своихъ церквахъ, вся безъ исключенія отъ мала до велика, отъ знатнаго до простолюдина, собралась на одну изъ площадей внутри города, и смотрѣла съ ужасомъ на затмѣніе солнца.

Темнымъ, кровавымъ пятномъ стояло неподвижно свѣтило неба на безцвѣтномъ, неясномъ горизонтѣ; мѣдное кольцо, обвивая закраины диска, одно знаменовало его присутствіе искаженное, разоблаченное отъ обычнаго величія и блеска; его лучи, какъ стрѣлы, ломались въ груди мрака, вязли, висли въ тѣни пятна, не отражаясь, не опадая мпіадами блестокъ, снопами свѣта; исчезъ ихъ радужный разливъ; природа потускла, предметы какъ-бы померкли, утратили свою цвѣтность. Не будь запаса вѣковаго, допотопнаго тепла, земля-бы остыла, охладѣла мгновенно: невиданное дотоль было затмѣніе солнца

Это духи тмы, говорили съ трепетомъ

жители Болоши: освобождаясь отъ затворовъ ада, они слетѣлись вокругъ небеснаго свѣтила и туманить его своими непроницаемыми крыльями.

Покайтесь! покайтесь грѣшныя! — сказалъ одинъ восторженный отшельникъ: — смиритесь сильные! будьте на стражѣ слабые! — Да не совратятъ васъ съ пути истины посулы и обѣщанія, соблазнъ и подстреканіе силы сатанинской. Часъ царства и власти Его близокъ...

— Дивныя дѣла, Господи, — воскликнулъ одинъ изъ толпы: — зачѣмъ попускаешь Ты, чтобы вѣрныя Тебѣ богомольцы подверглись власти демона, пали ницъ предъ нечестивымъ лицомъ Антихриста, пили горькую, съ олащенными краями, чашу искушенія.

— Она-то и необходима, — перебилъ отшельникъ, — для вѣчнаго искушенія.

— Святой мужъ, спросилъ другой боязливо: а это же что? Свѣтлое кольцо, что выбивается изъ-за мрака?

— Это свѣтъ свѣта Божія, свѣтъ благодати для потерпѣющихъ надежды.

— Взгляните, взгляните! — закричалъ третій: — вонъ туча; это полчища Антихриста собираются на бой съ Ангелами.

Въ то же самое мгновеніе набѣжало густое сѣрое облако, и съ трескомъ, съ гуломъ обрушилось надъ главами предстоящихъ крупнымъ каменнымъ дождемъ. Часть толпы разбѣжалась, другая со страха попала на землю.

На той же самой площади, усталый, едва передвигая ноги, тащился Себастьяно-Риччи. Утомленный тяжестью ноши, онъ остановился вздохнуть и сбросилъ ее съ плечь; изъ развязавшагося мѣшка во время паденія высыпалось нѣсколько золотыхъ манкози (mancozi) и византинокъ; старикъ не потрудился даже подобрать монеты и завязалъ мѣшокъ, не обративъ на нихъ вниманія.

— Ухъ, тяжела поща грѣховъ! — сказалъ Себастьяно, выпрямляясь: — я не донесу этого мѣшка домой; хоть бросить, а помочь некому. Не приняли въ монастырь: «приходи послѣ, теперь не до тебя, старей грѣшникъ, сребролюбецъ,» было проводомъ монастырскаго сторожа. — Боже мой, Боже мой! вотъ время: отъ вкладовъ, отъ даровъ отталкиваются, какъ отъ зачумленной ветоши. Мандіано! Мандіано! — за-

кричалъ онъ вдругъ поравнявшемуся съ нимъ поодаль человѣку въ разорванномъ рубищѣ: — пооди сюда, умолю, пооди скорѣе.

— Нищій двигался медленно.

— Извини, братъ, не обижайся; мы всѣ нищіе, труждающіеся; я бы не обидѣлся, еслибы ты меня такъ назвалъ. Вотъ тебѣ часть этого мѣшка золота; снеси остальное въ монастырь Св. Петра, ради успокоенія моеи совѣсти.

— Охотно.

— Бери же.

— Радъ дѣлать доброе дѣло.

— Точно, братъ, доброе.

— Вдвойнѣ доброе, — прибавилъ нищій, взваливая мѣшокъ на плечи: — какъ услуга ближнему и какъ средство примириться съ своею совѣстію. — Хвѣкъ не допускалъ въ этомъ случаѣ сомнѣній.

Нищій говорилъ отъ души.

Затмѣніе разсѣялось; солнце, какъ - бы высвободясь изъ-подъ спуда мрака, знойно освѣтило вершины Аппениновъ и крыши домовъ Болонни; народъ зашевелился снова, хотя ушло, вяло, на улицахъ и площадяхъ. Проходящіе замѣтили золотыя монеты,

лежавшія перемѣшанными съ аэролитами, только-что упавшими съ неба; нѣкоторые объясняли, что то было начало искушений злаго духа; всѣ дивились, съ молитвой отходили прочь; самъ Себастьяно не узналъ своихъ *mancoſi*.

— Злые духи, — продолжалъ одинъ изступленный фанатикъ: — взлетѣвъ на своемъ каменномъ облакѣ въ страну неба, и неустоявъ противъ его защитниковъ, низвергаются къ намъ грѣшникамъ на землю; но и здѣсь еще ищутъ соблазнить насъ, покорить ихъ власти: превращаются златомъ-искусителемъ, а вѣрныхъ вѣрѣ хотятъ истребить, избить дождемъ каменнымъ.

Восторженный фанатикъ остановился посреди пресловутаго своего истолкованія. Одинъ изъ слушателей, поднявъ аэролитъ и золотую *mancoſi*, понохалъ и передалъ стоящему около него, прибавивъ почти шопотомъ:

— Запахъ сѣры; понохай Беріо; пахнетъ адомъ.

Тотчасъ-же явленіе, или, лучше сказать, мнимое проявленіе нечистой силы пошло по рукамъ; каждый бралъ съ молитвой и

страхомъ, и, не задерживая, передавалъ другому, боясь заразы и магическаго вліянія.

— Разступись, сила сатанинская! — воскликнулъ отшельникъ: отъиди порождене Вельзевула; сгиньте демоны и духи тмы!

— Въ Рено ихъ! въ Рено! — закричалъ кто-то изъ толпы.

— Въ Рено! — повторила толпа, и со всеѣмъ неистовствомъ суевѣрія бросилась на груди небольшихъ камней и золотыхъ монетъ, собрала ихъ, и длинной процессіей, въ головѣ которой былъ отшельникъ, принеся къ берегу, бросила въ тихія волны рѣки. Рассказывали потомъ, что поверхность рѣки покрылась зеленымъ пламенемъ: то были исходящія духи; — а суевѣрнѣйшіе дали обѣтъ не пить болѣе этой воды.

Одинъ въ своей кельѣ, съ глубокой думой на челѣ, сидѣлъ Франческо. Его напутнія записки въ Палестину лежали небрежно на углу стола; толстый слой пыли покрывалъ ихъ обертку; — видно было, что руки старца давно не прикасались къ ихъ страницамъ. Вдругъ кто-то постучался въ

двери келли; Франческо всталъ, открылъ ихъ. Вошелъ Себастиано-Риччи.

— Забрелъ къ тебѣ, другъ мой, по дорогѣ, — говорилъ онъ, — отдохнуть немного. До виллы еще далеко, а я пѣшкомъ; извини если нарушу твоё уединеніе.

— Ничего, Себастиано, ничего, радъ отъ души: садись, отдохни — вотъ мое ложе.

— Слышалъ ты о чудномъ явленіи, Франческо?

— Что такое?

— Во первыхъ затмѣніе солнца.

— Я давно уже не смотрю на свѣтило небесное: тоскливое ожиданіе скоро на вѣкъ разстаться съ нимъ каждый разъ туманить слезой мои очи; мнѣ грустно смотрѣть на него для меня оно давно какъ - бы въ затмѣніи: близко, близко конецъ его царственнаго величія.

— Потомъ выпалъ каменный дождь съ неба, — продолжалъ Себастиано: — ты ничего не знаешь, Франческо?

— Слышалъ. Боже мой! Боже мой! — говорилъ старецъ въ грустномъ умиленіи: — благодатная влага, осѣжавшая землю, питающая жизнь ея, мгновенно превращается въ камни,

истребляетъ ея благотворное прозябаніе, ея роскошное процвѣтаніе, губить, разрушаетъ всѣ признаки жизненности, накладываетъ на все печать мрака, печать смерти; неисповѣдимы пути Промысла: *положенъ предѣль, его же не преjdeши*, но страшень этотъ часъ смерти не одного человѣка, — но цѣлаго міра.....

— Неужели, почтенный Франческо, — перебилъ Себастьяно: — одна близкая намъ земля страждетъ отъ разрушенія? Въ околodкахъ Болоніи даже не слышать ничего.

— Потому только не слышать, что вездѣ одна и та же цѣпь грозныхъ явленій, на землѣ и на небеси: вездѣ то же затмѣніе свѣтила небеснаго, тѣ же губительныя звѣзды съ хвостами, огненные столпы съ своими страшными предвѣщаніями; они отсюду равно видимы. Недавно былъ у меня собратъ изъ Пикардіи и сказывалъ, что въ землѣ Бургуновъ былъ точно такой-же каменный дождь. Пилигримы изъ Палестины повѣствуютъ объ ужасахъ, совершающихся въ странахъ, искони взысканныхъ благодатью Божіею. Сколько городовъ, мѣстъ, освѣщенныхъ стопами самого Богочеловѣка,

пали отъ землетрясеній, или тамъ, гдѣ природа жила теплою, даже простиравшимся иногда до жару, зною, мгновенно хладъ сковалъ всѣ источники жизни: Босфоръ, Нилъ оцѣпенѣли отъ льдинъ, которыми покрылись ихъ поверхности... Вездѣ, Себастьяно, вездѣ все гибнетъ или принимаетъ видъ разрушительной превратности; — а люди? а мы смертные? не тѣ-ли же испытываемъ опустошенія внутри насъ самихъ! Слѣдилъ ли ты за собой, Себастьяно? взиралъ ли ты очами ума и совѣсти на твою душу? Какое охлажденіе ко всѣмъ благамъ жизни, какое безстрастіе при возвращеніи на все окружающее насъ! Если эта земля, эта природа своими разрушительными явленіями какъ-бы сочувствуетъ близости конца міра, близости царственнаго приближенія своего верховнаго Владыки всемогнутаго Правителя, то этотъ человекъ, эта душа — частичка Божества, не должна-ли также трепетать при ощущеніи близости своего дивнаго, единаго, непостижимаго Бога; и будь она чиста, невинна, трепеть этотъ былъ-бы трепетомъ радостнымъ; но порочная, грѣховная, она трепещеть, какъ преступникъ,

въ ожиданіи своего суда и приговора. — Себастьяно, теперь только прожигаютъ пламенемъ душу слова строгаго, справедливаго судіи «*ею же мѣрюю мѣрите, тою же и возмѣрится вамъ.*» О, какъ грозно спросить Онъ насъ, были-ли мы ближними съ ближними нашими, помогали-ли ихъ нуждамъ, внимали-ль ихъ просьбамъ, и какъ смолкнемъ мы! совѣсть задушить можетъ быть готовую уже ложь; смущенные, мы поникнемъ съ своимъ ухищреннымъ взоромъ предъ Всевѣдущимъ Окомъ... Мы отвергали, отталкивали мольбы самыхъ близкихъ, кровныхъ намъ.....

— Умолкни, умолкни, старецъ!—воскликнулъ Себастьяно:—тяжелъ грѣхъ мой, жестоко будетъ наказаніе... Я не вижалъ просьбъ моей единой, любимой дочери; я оттолкнулъ ее съ мольбами самыми кроткими, удобополными; я не вижалъ влеченію, выбору ея сердца; я задушилъ своимъ холоднымъ эгоизмомъ, который подстрекнули приличіе и ложное понятіе о чести, я задушилъ ея невинную любовь; я принесъ въ жертву этому идолу себялюбія драгоценнѣйшее сокровище, покой и счастье невиннаго созданія

мнѣ близкаго, кровнаго, моей лучшей половины, моего совершеннѣйшаго продолженія... Дочь моя! моя милая дочь! ты простишь меня.... И это прощенье я принесу къ Предвѣчному какъ кладъ, какъ вѣрное очищеніе души моей. Гдѣ былъ я до сихъ поръ? какая темная, непрощаемая повязка предубѣжденія лежала на глазахъ моихъ? — Франческо, другъ мой! тебѣ обязанъ я духовнымъ прозрѣніемъ; ты навѣлъ меня на путь истины, который до этого времени исчезалъ околдованнымъ кругомъ подъ моими стопами: доверши начатое. Три года тому назадъ я просилъ тебя расторгнуть этотъ узелъ любви, союзъ привязанности двухъ невинныхъ, близкихъ намъ существъ — помнишь-ли? Теперь умоляю, помоги связать его, внемли моимъ моленіямъ! Какъ тогда, такъ и теперь лучъ моей надежды упирается на тебя, Франческо! Гдѣ Джуліо? скажи мнѣ... Ты молчишь... Гдѣ Джуліо? заклинаю тебя, скажи мнѣ....

Франческо неподвижно сидѣлъ у стола своего, смотря съ удивленіемъ на Себастьяно. Случайное дѣйствіе его словъ было

имъ неожиданно, въ пылу своего религиознаго обращенія къ Себастьяно, онъ потерялъ его совершенно изъ виду. Мысль привести къ раскаянію грѣшника была далека отъ него, и теперь, успокоясь уже отъ своего восторженнаго воззванія, онъ совершенно постигалъ настойчивыя желанія, требованія своего друга.

— Гдѣ Джуліо? — кричалъ послѣдній.

— Джуліо? — какъ бы въ разсѣянности отвѣчалъ Франческо: — не знаю; да, Джуліо? онъ ищетъ твоей Біанки, съ тѣхъ поръ какъ я ему сказалъ, что она не живетъ для свѣта.

— Гдѣ-же онъ теперь?

— Вотъ два мѣсяца, какъ я его не вижу.

Горестныя-ли воспоминанія при этомъ имени, нѣкогда столь миломъ для почтеннаго старца, или общая, болѣзненная мысль вѣка приводила его какъ-бы въ состояніе забвенія самого себя и всего окружающаго; онъ разсуждалъ, одушевлялся лишь тогда только, когда говорили о концѣ міра; малѣйшее отступленіе — и онъ снова умолкалъ, снова задумывался, поглащался внутренней жизнью. Всѣ вопросы Себастьяно

оставались безъ отвѣта, всѣ моленія безъ отвѣта: то было для него какъ-бы начало испытанія всей тягости безстрастнаго, безсловеснаго осужденія Судии Предвѣчнаго.

— Боже милостивый!—говорилъ Себастьяно, выходя отъ своего друга:—умилосердись, помоги мнѣ свершить доброе дѣло, помоги мнѣ заградить мое преступленіе!

Наступилъ послѣдній мѣсяць года. Бирюзоваго неба Болонни какъ-бы не стало; свѣтлыя струи его, яркая лазурь, золотой горизонтъ слились, стянулись, сдвинулись душнымъ, знойнымъ, раскаленнымъ сводомъ. Роскошныя, вѣявція свѣжестью долины, изумрудныя, заштыя въ зелень окрестныя холмы, цвѣтныя, пестрые луга, поляны горѣли, покрывались пепломъ, и густой удушливый дымъ, вѣстникъ пожара, вился клубами, растилался мрачнымъ флѣромъ по поверхности. Сребристые тополи, горделивые кедры, перевитые лозами винограда, золотые померанцы блекли, роняли свои листья, чувствуя приближеніе вѣчной осени, безъ надежды снова ими осѣнитъсь;

жасмины, розы блекли, терли свое благовоиe; одинъ кипарисъ ярче обыкновеннаго раскидывался своими иглами, переживалъ растительную природу, служа какъ-бы и ей плачевнымъ, надгробнымъ памятникомъ; широкій, раздольный потокъ Рено пѣмѣлъ, узился, изсыхалъ примѣтно; мѣрное, игривое журчаніе струй смолкло безпробудно; кругомъ тишина мѣртва, кругомъ признаки смерти и смерти вѣчной, отъ которой, казалось, не воскреснуть.

Прекрасная вилла Себастьяно-Риччи, этотъ лучший уголокъ въ цѣлой Италіи, вы бы не узнали ея теперь: точно какъ-бы ураганъ и буря вихремъ пронеслись по ней и уничтожили ея очаровательныя прелести. Аллеи, куртины, пирамидальныя горки исчезли, сгладились; дорожки заглохли; гладкія площадки изрылись ямами; засохшія, вывернутыя съ корнемъ деревья лежали тутъ же во прахъ, искажая видъ и безъ того уже жалкій, уныло-мрачный; ворохи опавшихъ листьевъ, снесенные вѣтромъ въ кучи гнили, извергали вредныя, удушливыя испаренія; ключи холодной воды изсохли, перестали освѣжать воздухъ серебристой пылью, жем-

чужими каплями; и посреди этой-то картины разрушенія, вдругъ мелькнула тѣнь, но тѣнь живая, рѣзвая, игривая... Обитательница грустной, обезображенной юдоли, какъ-бы въ противоположность послѣдней, она была юна, красива, какъ утро перваго дня отъ вѣка, весела какъ лучъ вѣшняго, давно невиданнаго солнца: то была Біанка.

Дружескія объятія отца отогрѣли жизнь въ этомъ также замправшемъ тѣлѣ; дозволеніе соединиться съ Джуліо, которое было предложено отъ души, болѣе въ видѣ просьбы, моленія, чѣмъ снисходительной уступки до тѣхъ поръ непреклонной воли отца, разъиграло яркій румянецъ на ланитахъ, начинавшихъ уже блекнуть въ отчаяніи и безнадежномъ ожиданіи исполненія столько времени несбывавшагося желанія. Недоставало Джуліо, и кубокъ счастья былъ бы полонъ... Бросивъ свою старую тѣтку, которая сидѣла въ это время подъ завялымъ розовымъ кустомъ и представляла собою поговорку Римлянъ *subrosa*, потому что не высказала-бы и тайной грусти этого цвѣтка по своему увиданіи; соскучивъ ея совѣтами, увѣщаніями, Біанка бѣгала по пепелищу своего

нѣкогда-райскаго убѣжища, не замѣчая разрушенія, и оглашала безпрестанно воздухъ нетерпѣливыми кликами: «Джуліо! Джуліо! гдѣ Джуліо? скоро-ли придетъ Джуліо?»

— Джуліо!... на этотъ разъ призывъ не остался безъ отвѣта, и братское эхо отозвалось такимъ-же восклицаніемъ.

— Біанка!

Джуліо, увлеченный воспоминаніями въ своей вечерней прогулкѣ, посѣтилъ виллу Себастіана; бродивъ около, онъ вдругъ услышалъ знакомый, милый голосъ, бросился на него, и упалъ въ объятія подруги своего дѣтства.

— Ты-ли это, Джуліо?

— Ахъ, это ты, Біанка!

— Боже мой, какъ я счастлива! Какъ помужалъ, какъ перемѣнился — говорила Біанка: — но все хорошъ, очаровательно хорошъ, по-прежнему.

Джуліо отвѣчалъ одними поцѣлудми на увлекающій потокъ ласокъ и привѣтствій.

— Разлука живить любовь, Джуліо.

— Зато дѣлаетъ ее мучительнѣе, Біанка.

— Она рождаетъ грусть, а это чувство неразлучно съ памятью о миломъ.

— Грусть сушитъ сердце, истомляетъ душу.

— Да, это правда, вонъ... Ему Одному только извѣстно, что перенесло это бѣдное сердце!

И этимъ жестомъ, этимъ движеніемъ руки къ небу, которымъ указывалось на божественное вниманіе Сердцевѣдца къ страдающему, краснорѣчиво высказала Біанка всю исторію страданій и горя въ разлукѣ съ милымъ.

— Джуліо, ты опять со мною! Боже мой, одно мгновеніе—и годы мученій, вѣкъ скорби растворяются, исчезаютъ въ немъ! Джуліо, ты любишь Біанку? любишь по-прежнему?

— Люблю-ли я?...

— О, милый, добрый мой Джуліо! Неожиданная встрѣча съ тобою отуманила-было совершенно мою память. Знаешь-ли что? батюшка благословилъ любовь мою, мой выборъ; онъ согласенъ на союзъ нашъ. Давно-ли мысль о немъ возмутила уже его спокойствіе? теперь, напротивъ, онъ проситъ, умоляетъ, ищетъ тебя всюду, желая какъ можно скорѣе довершить его. Не постигаю перемены.... Джуліо, сей часъ же,

завтра, когда хочешь. Біанка отступила назад и съ какой-то игривой, веселой торжественностью докончила начатую фразу.

— Ты можешь, Джуліо, назвать меня своею женою....

Какъ приговоренный къ смерти, дрожа всѣмъ тѣломъ, стоялъ безмолвно Джуліо. Страшная мысль молніею пробѣжала по всему его составу, прожгла мозгъ и электрической искрой ударила въ сердце.

— Джуліо! Джуліо! что съ тобою? ты блѣдень, ты дрожишь. Обними, обними меня... Прижмись ко мнѣ... Я отогрѣю тебя поцѣлуями.

— Люди, люди! — проговорилъ наконецъ Джуліо, тяжело вздохнувши: — тогда дарите вы жизнью, когда и само небо, ненарушивъ своего непреложнаго закона, не можетъ часомъ продлить ее! Жалкой, грустный подарокъ... Какой нищій не оттолкнетъ его.... Пользуйся, наслаждайся ея благами, вотъ они: а эти блага прожжены печатью смерти, пропшкнуты уже тлѣніемъ; возьми ихъ — и они разсыпятся въ прахъ и ничтожество.... Но чувства, но любовь и дружба, это драгоценности невещественныя, зачѣмъ

дарите вы вамъ невѣдомымъ, вамъ непринадлежащимъ! Вы заглушили во мнѣ прекрасное; вашими несправедливостями вы отняли у меня усладу жизни; вы лишили меня того созданія, къ которому съ дѣтства влекли, привязывали меня умъ и сердце; вы вручаете мнѣ теперь за часъ до смерти почти охладѣлый трупъ его; но то, что нѣкогда его одушевляло, что билось въ немъ для меня, не погибнетъ и за порогомъ жизни.... Біанка! ни слова о землѣ, о прахѣ....

Обращеніе это пробудило красавицу отъ забвенія. Сначала, не понимая Джуліо, она боялась, вздрагивала, пугалась его восторженной рѣчи; но скоро страхъ былъ прогнанъ сознашемъ, которое было доступно и для ума ребенка въ эту эпоху, подъ вліяшемъ одной и той-же грозной мысли; отъ отца, родныхъ, близкихъ и она слышала о концѣ міра; Джуліо рѣзче только сблизилъ слухи съ дѣйствительностью.

— О Джуліо! — вымолвила Біанка: — я понимаю тебя, прости мнѣ мое забвеніе; пусть настанетъ скорѣй роковая минута, я не страшусь; мы будемъ вмѣстѣ, больше вмѣстѣ чѣмъ когда-нибудь: такъ-ли Джуліо?

— Вмѣстѣ, вмѣстѣ, Біанка!

— Я понимаю тебя, Джулио... Еще нѣсколько дней тому назадъ, невидавъ тебя, я была поражена таинственной музыкой органа (*): мнѣ мнилось, что эти звуки были души наши. Сначала несовершенно полные, но въ стройной гармоніи съ быстрыми, ровными переходами изъ одного тона въ другой: то первая встрѣча съ душою матери, сестры, брата—первая бесѣда, тихая, скромная, первая передача былыхъ и новыхъ ощущений... Миръ воспоминаній разевался передъ нами въ своихъ радужныхъ, цвѣтистыхъ картинахъ, а тамъ взлеталъ уже лучезарный покровъ, скрывавшій отъ насъ блистательный, ослѣпительный престолъ Предвѣчнаго. Въ это мгновеніе звуки органа достигли всей полноты своей; они звучали, рожались, столпивались, крутились такъ быстро, что я почти не замѣчала переходовъ, и мнѣ казалось, что то была моя душа, пораженная, восторженная, ищущая какъ-бы перелить, передать кому-нибудь свое неземное ощущеніе. Гдѣ? гдѣ эта другая, свѣтлая, рай-

(*) Ferrario.

ская душа, которая и тогда еще на землѣ понимала мои небесные восторги; гдѣ? гдѣ она?.. Органъ слабѣлъ, какъ-бы раздѣляя грусть души моей по душѣ милой... Вдругъ два, три полныхъ, рѣзкихъ звука, посреди унылой музыки; стремлюсь, рѣю къ ней; она здѣсь, около меня; чудится, вѣсть въ ней душа Джуліо, душа друга... Молча, боясь остудить словами радость встрѣчи, мы мгновенно отождествляемся, а звуки рѣже и рѣже, замерли..... Тихо... смолкло всё... мы тонемъ въ созерцаніи, сливаемся съ вѣчно-стію. Джуліо! Джуліо! я понимаю тебя....

Вся Болонія въ церквахъ. Въ соборѣ Св. Петра самъ Епископъ во всемъ облаченіи, въ длинной широкой ризѣ снѣжной бѣлизны, которую называли въ то время *casula*, въ богатомъ изукрашенномъ *pallium*, соответствовавшемъ послѣ уже носимой митрѣ, сойдя съ своего *exedra* и передавъ субдіаконамъ свой *crocio* или посохъ, совершалъ торжественную, послѣднюю всенощную. По окончаніи обычныхъ церемоній началась *misere pro defunctis*, или панвихида по усопшимъ. Никогда это релігіозное воспомина-

ние, освященное и установленное въ самую
 младенствующую эпоху церкви, никогда не
 было такъ близко, такъ осязаемо, какъ
 въ эту мшуту: вспоминать о душахъ по-
 койныхъ, бывъ убѣжденнымъ встрѣтиться,
 сойтись съ ними черезъ нѣсколько ча-
 совъ, знать что предки наши, ближайше
 къ намъ по времени, и вѣковъ самыхъ от-
 даленныхъ, почти внимають уже уныло на-
 пѣваемой *вѣной памяти*; сознавать, что
 цѣлыя поколѣнія съ ихъ дѣлами, чувствами,
 мыслями въ кругу событий, на которыя они
 за нѣсколько тысячъ лѣтъ до насъ имѣли
 вліяніе, возстануть мрачными тѣнями изъ
 могилъ своихъ и, смѣшавшись съ нами,
 толпой повлекутся на судъ Судьи Предвѣч-
 наго; что и цѣлый міръ, раздвинувъ пре-
 дѣлы нами видимаго пространства, вдругъ
 воспрянетъ отъ праха, какъ неумытный
 свидѣтель, какъ грозная ушка на человѣ-
 ка, не всегда добросовѣтнаго; что и са-
 мыя дѣла наши, одушеваясь мыслію соб-
 ственнаго сознанія, вооружась мощнымъ
 словомъ, заговорять противъ насъ....
 и все это совершится скоро, сей-часъ-
 же.....

Страшно трепетало Болонское челоуѣчество, стоя на колѣняхъ въ соборѣ Св. Петра, видя панихидѣ по усопшимъ въ послѣднюю ночь 1000 года.

Густыя облака громадными драконами свивались и развивались по мрачному небу; какая-то сѣрная влага какъ-бы лилась съ ихъ тусклой, чешуйчатой брони; зной, удушливый воздухъ стремились пѣной, клубомъ изъ ихъ зияющихъ челюстей, и медленно вѣдрями таѣше во всю природу, во все окружающіе предметы. Вдали Апеннинскіе великаны, окруженные, сдавленные ихъ кольце-образными изгибами, какъ-бы въ послѣдней попыткѣ удержать свое рушащееся подножіе, свою родину — землю, не устоявъ сронили гордые вѣщи свои, исчезли въ непроницаемыхъ туманахъ. . . . Буря зрѣла, громъ начиналъ уже раскатываться по отдаленному небосводу. . . .

Одна, въ бѣлоснѣжной сотоѣ, съ распущенными волосами шла тихо Біанка на полуночное, роковое свиданіе. Взрытыя катакомбы — и осѣянны кургановъ и еувѣрнымъ усердіемъ людей, думавшихъ облегчить выходъ своихъ праотцевъ изъ склеповъ

и скрытыхъ подземелій, выдвигались, росли, множились мрачными тѣнями. Робко вступала Біанка въ безмолвную юдоль смерти. . . Послышался шелестъ шаговъ, отозвалось чье-то взволнованное дыханіе; сердце дало знакомую вѣсть:

— Джуліо!

— Біанка!

Въ три дня отъ послѣдней ихъ встрѣчи, какъ измѣнились эти обѣ жертвы — и любви, и людей, и фанатизма! Злая чахотка доглодала сердце бѣдной дѣвушки, и, выжавъ остатокъ крови розовыми пятнами на ея лангеты, казалось, торжествовала, тѣшилась, игривымъ, предсмертнымъ румянцемъ. . . . Опустошительный пламень сунуль, пепелилъ главу несчастнаго любовника и, разрывая черепъ, казалось, прожигалъ печатью безумія огненные его очи.

— Біанка, вотъ нашъ алтарь, — говорилъ Джуліо, указывая на одну изъ могилъ: — слышишь? . . . дальніе раскаты грома! близокъ конецъ нашъ!

— Холодно, страшно, Джуліо!

— Страшно . . . Чувство праха, чувство

земли... Ну, мы вмѣстѣ покинемъ землю...
Приблизься Біанка...

Вдругъ черная туча, сжавшись ядромъ, потряслась, и разразилась надъ ихъ главами съ потоками молній, громовымъ сильнымъ ударомъ.

— О, давно желанный звукъ! — воскликнулъ Джуліо, охвативъ руками омертвѣвшую Біанку: — слышишь ли, ударилъ послѣдній часъ! — Насъ зовутъ!, оживемъ... оживемъ... для жизни вѣчной...

Я... о... жи... ла...

Пронеслась роковая буря; протекла ожидаемая полночь; миновалась грозная тысячелѣтняя ночь; завидѣлась точка зари утренней; взошло солнце и освѣтило тотъ же день, тотъ же міръ, то же человѣчество...

Два холодные трупа лежали на Болонскомъ кладбищѣ: то была Біанка и Джуліо... Съдой старикъ, ораморенный горестью, стоялъ надъ ними вмѣсто мавзолея; проходящіе узнали въ немъ Себастьяно-Риччи...

II. КАМЕНСКІЙ.



Искаль О. Кипренскій.

Граф В. Райтъ.

СИЛЛА ТИВУРТИНСКАЯ.

ПОСЛѢДНЯЯ СЦЕНА ИЗЪ «ФАУСТА».

ТѢМНИЦА.

ФАУСТЪ, передъ дверьми темницы,
съ ключами и фонаремъ.

Невольный ужасъ надо мною;
Я на душѣ несу все бѣдствія людей.
Вотъ здѣсь она, за хладною стѣною,
Безгрѣшная грѣшна любовью своей.
Мнѣ-ль подойти къ одру ея страданья,
Къ одру пѣмыхъ ея скорбей?
Мнѣ-ль вынести вздохъ предсмертнаго терзанья?...
Впередъ! Твой страхъ погибель ей!

ГОЛОСЪ МАРГАРИТЫ изъ темницы.

Какъ негодища-мать
Убила меня,
Какъ отецъ, старый плаутъ,
Съѣлъ родное дитя,
Какъ малютка сестра
Юсти въ яму снесла,
А какъ стала потомъ
Легкой пташечкой я...
Взвейся, пташка моя!

Ф А У С Т Ъ.

Въ нѣмой тоскѣ она не знаетъ,
Кто въ этотъ часъ такъ близь къ ней,
Кто грустной жалобѣ внимаешь
И слышишь стукъ ея цѣпей.

(Оттираетъ дверь.)

МАРГАРИТА, скрываясь на постели.

Они идутъ, мои убійцы!
Идутъ! О смерть, какъ ты горька!

Ф А У С Т Ъ.

Твой другъ съ тобой, его рука
Раскроетъ дверь твоей темницы.

МАРГАРИТА.

Не мучь меня, кто бъ ни былъ ты!

Ф А У С Т Ъ.

Увы! Твой крикъ разбудитъ стражу!

МАРГАРИТА.

Оставь на мнѣ мои оковы,
Не рѣжь въ часъ ночи гробовой!
Сегодня жить, палачъ суровый,
А завтра — смерть, убійца мой!
И молода — щади же младость!
И хороша, во цвѣтъ лѣтъ;
Но красота мнѣ не на радость.

Быль другъ — его давно ужь нѣтъ!
Мои цвѣты грозой побиты,
Разорванъ пышный мой вѣнокъ,
Вкругъ головы моей обвитый
Онъ на главѣ моей поблекъ.
Не тронь холодными руками,
Не тронь меня! Ты мнѣ чужой.
Смотри, въ пыли передъ тобой
Я плачу горькими слезами!

(Падаеть передъ нимъ на колѣни.)

Ф А У С Т Ъ.

Мнѣ этихъ мукъ не пережить!

МАРГАРИТА.

Палачь, ты слышишь крикъ дитяти?
Дай мнѣ малютку накормить!
Всю ночь изъ пламенныхъ объятій
Ее отнять я не могла,
Надъ ней всю ночь я не спала,
Ее съ слезами цаловала,
Надъ ней смѣялась и рыдала.
Они убить ее хотять...
Готова дѣтская могила...
Малютки нѣтъ! — А говорятъ,
Что я сама ее убила!
На мать грѣшно имъ клеветать;
Боюсь я пѣсни ихъ лукавой;
Вольно имъ сказку толковать:
Мнѣ чуждъ и страшень грѣхъ кровавый.

ФАУСТЪ у ногъ ея.

Твой другъ у ногъ твоихъ лежитъ,
Твой другъ оковы разгромитъ.

МАРГАРИТА воздѣ него на колѣняхъ.

Палачъ, на колѣни!
Дрожи и молись!
Могильныя тѣни
У крайней ступени
Блуждомъ свились.
Ты слышишь-ли хохоть?
Ты чуешь-ли смрадъ?
Сквозь трескъ и грохоть
Бѣснуется адъ!

ФАУСТЪ громко.

Грѣтхенъ, Грѣтхенъ!

МАРГАРИТА, прислушиваясь.

Голосъ друга — звуки рай!
Цѣнь узнала, я пду!
И на грудь его рыдая
Съ нѣгой страстной упаду.
Онъ звалъ меня: Грѣтхенъ! Сквозь облако смрада,
Сквозь скрежетъ могильный, по хохоту ада,
Сквозь смертныя стоны и вопли тоски,
Я слышала нѣжныя звуки любви!

ФАУСТЪ.

И здѣсь!

МАРГАРИТА.

Ты здѣсь! О повтори

Слова любви! Въ замѣну муки

Ты тихо ихъ проговори!

Онъ здѣсь — и гдѣ печаль разлуки?

Гдѣ страхъ темницы, боль цѣней?

Я спасена — и нѣтъ печали,

Раскрыта дверь тюрьмы моей,

И цѣпи тяжкія упали....

Вотъ здѣсь мы встрѣтились съ тобой;

Ты помнишь, здѣсь, на этомъ мѣстѣ;

А вотъ и садъ, гдѣ въ часъ ночной

Мы съ Мартой тихо за стѣной

Тебя вдвоемъ, бывало, ждали.

ФАУСТЪ.

Иди за мной!

МАРГАРИТА.

О, подожди,

Согрѣйся на моей груди.

ФАУСТЪ.

Молю тебя, уйдемъ скорѣе.

МАРГАРИТА.

Цалуй, цалуй меня живѣе!

Но ты устами меня ласкать,

Ты научился цаловать;

Твоя любовь прошла съ разлукой,
 И страшно мнѣ, и съ тяжкой мукой
 Я на груди твоей лежу,
 Хочу обнять — а не могу.
 Я помню знойныя лобзанья,
 Палащій взоръ, огонь рѣчей:
 Тогда безъ чувства, безъ дыханья
 Я мѣла на груди твоей.
 Цалуй, ласкай меня, какъ я тебя ласкаю!
 Но, ахъ, уста твои молчать,
 На нихъ лежить могильный хладъ;
 Я ужасъ смерти въ нихъ вдыхаю.
 И ты бѣдняжку разлюбилъ
 И ты, и ты ей измѣнилъ!

(Отвѣщается.)

ФАУСТЪ.

Не погуби моей мечты!
 Сотри слезу нѣмыхъ страданій,
 Бѣги изъ смрадной темноты!
 А тамъ, въ огнѣ моихъ лобзаній
 Меня опять полюбишь ты!

МАРГАРИТА смотритъ на него.

Но ты ли здѣсь, другъ милый мой?

ФАУСТЪ.

Смотри, я здѣсь, я за тобой!

МАРГАРИТА.

Ты цѣпи силъ съ ноги моей,
Меня къ груди ты прижимаешь.
Остановись! Нѣтъ, ты не знаешь,
Бто я.

ФАУСТЪ.

Пора! Бѣги скорѣй!

МАРГАРИТА.

Родную мать убила я,
Дитя родное утопила;
Дитя, малютка, дочь твою:
Ее намъ небо подарило.
Дай руку мнѣ. Не бредъ любви
Твой образъ мнѣй... все яснѣе....
Дай руку мнѣ — она въ крови!
О, оботри ее скорѣе!
Родную кровь узнала я....
Не обнажай кнѣжала снова!

ФАУСТЪ.

Молю, не возмущай былаго!
Въ быломъ таится смерть моя.

МАРГАРИТА.

Нѣтъ, ты живи, ты нуженъ мнѣ;
Работы много, другъ мой милый.
На утро въ грустной тишинѣ

Для насъ ты вырой три могилы:
На первомъ мѣстѣ мать моя,
За нею братъ, а послѣ я
Сторонкой къ нимъ, но недалеко.
На грудь дитя мое клади;
Я буду спать съ нимъ одиноко,
И не съ тобой, не на твоей груди!
А прежде часто я, бывало,
Объ этомъ думала но нѣтъ!
Теперь съ тобой мнѣ страшно стало,
Поблекъ любви роскошный цвѣтъ!
А ты такъ ласковъ, какъ и прежде,
Съ такой же доброю душой.

ФАУСТЪ.

Не измѣни жь моей надеждѣ!
О вѣрься мнѣ, иди за мной.

МАРГАРИТА.

Куда?

ФАУСТЪ.

На волю изъ темницы!

МАРГАРИТА.

А гробъ готовъ ли тамъ для насъ?
А ждетъ ли смерти тихій часъ
На темномъ днѣ моей гробницы?
Я не могу. Нѣтъ, Генрихъ, нѣтъ!

ФАУСТЪ.

Смотри, ты можешь: все открыто.

МАРГАРИТА.

Давно завилъ надежды цвѣтъ.

Я не могу! Чу... тихо, скрыто
Тамъ ждуть меня... какъ убѣжать?
Вѣкъ цѣлый по міру скитаться,
Съ слезами черствый хлѣбъ собирать
И въ мукахъ совѣсти терзаться?

ФАУСТЪ.

Вѣрь, не покину я тебя.

МАРГАРИТА.

Спаси скорѣе

Свое дитя!

Туда лѣве,

Не вдалькѣ,

Черезъ заборъ,

Вдоль по рѣкѣ,

Гдѣ темный боръ,

Тамъ смерть и страхъ!

Дитя въ волнахъ!

Оно зоветъ,

Дрожитъ, живетъ....

Спаси скорѣе!

ФАУСТЪ.

Опомнись. Шагъ — и ты на волѣ!

МАРГАРИТА.

Но гдѣ пройти? Нога дрожить
На жесткомъ камнѣ, въ дикомъ полѣ
Старушка мертвая сидитъ,
Душа отъ страха замираетъ!
Старушка мертвая сидитъ
И головою мнѣ киваетъ.
Она меня не позвала;
Глава отъ сна отяжелѣла —
Дочь цаловалась, мать спала,
А время все себѣ летѣло!

ФАУСТЪ.

Пора! Смотри, заря надъ нами.

МАРГАРИТА.

Видалъ ли ты зарю любви?
Она для насъ ужъ закатилась.
А это смерть въ лучахъ зари
На ширь кровавый снарядилась.
Да, это смерть! Не говори,
Что въ эту ночь ты былъ со мною!
Но гдѣ, скажи мнѣ, мой вѣнокъ?
Завялъ, поблекъ!
Мы снова встрѣтимся съ тобою,
Но не за пляской круговой
Что тамъ за шумъ? Толпа бѣжитъ;
Я слышу звонъ, народъ тѣснится,
Ваши, толкуеть, суетится,

А съ башни колоколь гудить.
Они ко мнѣ, схватили въ страхѣ,
Влекутъ, шумять, толпа за мной....
Вотъ отошли — а я на плахѣ!
Топоръ сверкнулъ надъ головой
И мнѣ, какъ гробъ передо мной!

ФАУСТЪ.

Увы, зачѣмъ родился я!

МЕФИСТОФЕЛЕСЪ передъ дверьми.

Скорѣй, впередъ! Не кстатн слезы,
Любви безумной болтовня,
Дрожь нѣги, вздохи, пени, грезы!
К чему тутъ плакать? Кони ржутъ
И вась стрѣлою повесуть.

МАРГАРИТА.

Кто тамъ изъ пронасти выходить?
Вотъ онъ ко мнѣ! и деть, и деть!
Онъ ужасъ на душу наводитъ....
Прочь отъ него!

ФАУСТЪ.

Онъ насъ спасеть!

МАРГАРИТА.

О Боже, я твое творенье!
Да будетъ судъ твой надо мной!

МЕФИСТОФЕЛЕСЬ Фаусту.

Пойдемъ. Не во время молебье,
Не то, пропали мы съ тобой.

МАРГАРИТА.

О Боже! Я твоя рабыня!
Приши молитву слезъ моихъ!
Да окружитъ меня святыни
Блаженныхъ Ангеловъ твоихъ!
О Генрихъ! Страшно мнѣ съ тобою!

МЕФИСТОФЕЛЕСЬ.

Она на вѣкъ осуждена!

ФАУСТЪ.

Она молитвой спасена!

МЕФИСТОФЕЛЕСЬ Фаусту.

Бо мнѣ! За мною!

(Исчезаетъ съ Фаустомъ.)

ГОЛОСЪ ИЗЪ ТЕМНИЦЫ.

Генрихъ! Генрихъ!

ЭДУАРДЪ ГУБЕРЬ.

СЦЕНЫ ИЗЪ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

АИСТА.

— Ваше Благородіе! посмотрите: дикая лошадь!

— Что ты за вздоръ несешь? это вѣтеръ гоняетъ по степи перекасти-поле.

— Никакъ нѣтъ; вотъ на право, возлѣ кургана, остановилась дикая лошадь; извольте посмотрѣть какая мышастая. Вотъ спугнулъ ее мальчишка;— опять помчалась въ поле: вишь шель такъ и завивается!

Въ самомъ дѣлѣ, къ деревнѣ подбѣгала дикая лошадь.

— Какъ-же, Ваше Благородіе, вахмистръ увѣрялъ меня, что дикія лошади перевелись въ Херсонской губерніи.

— Вольно тебѣ слушать вахмистра. Ты бы прочиталъ «Землеописаніе» Г. Зябловскаго, тамъ именно упомянуто....

— Да, вахмистръ, сударь, грамотный; онъ наизусть знаетъ военный артикуль, а въ немъ объ дикихъ лошадяхъ ничего не сказано.

— Какой-же ты простакъ! Иное дѣло военный артикуль, иное дѣло землеописаніе. Въ первомъ изложены правила....

— Не можемъ знать, Ваше Благородіе, наше дѣло не книжное, — отвѣчалъ дешицикъ, испугавшись начала моихъ дефиницій. Онъ ушелъ къ очагу, отъ котораго оторвало его появленіе дикой лошади.

Кто не зналъ скуки! Кто избѣжалъ этой нравственной ржавчины! Въ удовольствіяхъ столицы, на большихъ обѣдахъ, великолѣпныхъ вечерахъ, въ антрактахъ, если не въ самой оперѣ, — и тамъ является эта несносная зараза. Но чтобы въ полной мѣрѣ понять, что такое скука, надобно, чтобы судьба забросила васъ въ 20 лѣтъ жизни въ Херсонскую деревню, возлѣ которой являются дикія лошади. Тамъ посѣщаетъ она васъ

не на мгновенье, не на часы—о нѣтъ! тамъ является она обнаженная на цѣлые дни, мѣсяцы, годы. Годы скуки и одиночества въ 20 лѣтъ, когда душа просится въ общество къ людямъ, на этотъ всеобщій базаръ, гдѣ всякой день можно мѣняться впечатлѣніями, мыслями, чувствованіями; гдѣ всякой день можно влюбляться въ женщину; гдѣ все щекочитъ умъ, шевелитъ сердце; гдѣ все такъ полно, шумно, блестяще; гдѣ все мыслить, веселится, поетъ и прославляетъ прелести жизни!

И началъ грызть перо: мнѣ хотѣлось написать повѣсть; въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ изобразить въ ней всю тягость тогдашняго моего одиночества и послать ее къ милымъ барышнямъ, которыя, какъ говорили мнѣ, большія охотницы до чувствительныхъ разсказовъ. Мнѣ хотѣлось, чтобъ хорошенькая дѣвушка, прочитавъ мою повѣсть, вздохнула, задумалась и мысленно сказала: онъ молодъ и одинъ томится въ степи и шипитъ такъ мило, такъ трогательно! Бѣдняжка! И чтобы въ тотъ-же день, жалуясь на разстройство нервовъ, она упростила свою Маман отвезти ее

въ Одессу, къ цѣлительнымъ водамъ поэтического Чернаго моря.

И не смотря на это утѣшительное мечтаніе, ни одна свѣтлая мысль не вязалась въ головѣ моей. Цѣлыя страницы наполнены были одними восклицаніями и жалобами на степи. Это однообразное предисловіе мнѣ не понравилось; я изорвалъ бумагу въ мелкіе клочки и бросилъ за окно. Порывъ вѣтра быстро подхватилъ ихъ и умчалъ въ степь, вѣроятно желая прочесть, что объ ней пишутъ. Счастливый путь! Туда вамъ и дорога!

Я взялъ другой листъ и хотѣлъ начать повѣсть описаніемъ мѣстоположенія. Я взялся за предметъ самый неблагодарный. Вокругъ меня была обнаженная равнина, безъ жизни и разнообразія, мѣстами покрытая бурьяномъ, въ концѣ горизонтъ и на пространствѣ десяти верстъ ни одного предмета, который можно бы было нанести на бумагу. Я искусалъ перо и не могъ придумать ни къ чему; на моемъ листѣ отразилась пустота окружавшей меня природы. Наконецъ явилось живое существо — это былъ аистъ, который съ удивительною важною расхаживалъ по степи.

Кстати объ анстахъ. Ужь ежели судьба пошлетъ васъ въ Херсонскую губерцію, то просите, чтобы она отправила васъ туда анстомъ, потому что никому на свѣтъ нѣтъ лучшаго житья, какъ ансту въ Херсонской губерніи. Вамъ будетъ очень тепло и привольно, только сдѣлайтесь бѣлымъ анстомъ (*Sisonia alba*), потому что черные тамъ не водятся.

Знакомы-ли вы съ этою птицею?

Птица длиною около трехъ футовъ, съ блестящими бѣлыми перьями, которыя на нижней части шеи висятъ очень длинно, съ длиннымъ краснымъ носомъ, на длинныхъ красныхъ ногахъ, съ черною головкою и крыльями: таковъ анстъ.

Правъ постоянный и кроткій, привычка къ людямъ, взаимная любовь между самцомъ и самкою, нѣжность къ дѣтямъ и попеченіе дѣтей о старыхъ и больныхъ родителяхъ: таковы нравственныя качества анста.

Гнѣздо на башнѣ, колокольнѣ, на кровлѣ или трубѣ дома, а иногда на вершинѣ высокаго дерева, или утесистой скалы, добрая змѣя или ящерица на обѣдѣ, забота вывести двухъ-трехъ дѣтенышей, медленная

прогулка по степи, по дворамъ и по улицамъ и осенній перелетъ въ Африку: такова жизнь аиста.

Вѣроятно за истребленіе змѣй и другихъ вредныхъ животныхъ, простой народъ имѣеть къ нимъ особенное уваженіе. Въ разговорномъ языкѣ Херсонской губерніи ихъ не называютъ аистами, а существуютъ другія названія, которыя я теперь позабылъ и, конечно, къ лучшему. Я помню только, что я очень хохоталъ, когда подслушалъ однажды слово, которымъ называла эту птицу одна барышня..... Впрочемъ, можетъ быть это произошло отъ того, что я очень смѣшливъ отъ природы.

Я зналъ одного помещика, который чрезвычайно любилъ эту породу. Больше двадцати лѣтъ онъ постоянно слѣдилъ пребываніе аистовъ въ Херсонской губерніи, и собралъ объ нихъ самыя новыя и любопытныя свѣдѣнія. Вотъ, между прочимъ, черта изъ ихъ жизни, которую онъ разсказалъ мнѣ однажды.

На соломенной крышѣ добраго мужика Шкварки свилъ себѣ гнѣздо аистъ, и всякій годъ возвращался къ нему, съ своей неразлучной супругой. Шкваркѣ было это очень

по сердцу. Хозяйство и семейство его процвѣтало; у него всякій годъ родился или сынъ или дочь, съ такими красными, полными щечками, что такъ и хочется ихъ ущипнуть; размножались бараны, лошади, поросята, куры, гуси, утки; ржи и пшеницы дѣвать было некуда; сушенья гриби, сливы, вишни, зеленый горохъ—Боже мой, чего не было у Шкварки! И хотя Шкварка и жена его были люди честные и трудолюбивые, но они все свое счастье и изобиліе приписывали аисту. Такъ думали и другіе крестьяне; такъ думала и помещица, и потому лучшихъ цыплятъ и лучшихъ свиней отдавала къ нему на племя, въ полной увѣренности, что у него откормятся они цѣлѣе и здоровѣе, потому что на его крышѣ живетъ аистъ.

Всякій разъ при началѣ весны, когда аисты начинали тянуться съ юга въ Херсонскую губернію, Шкварка часто выходилъ изъ хаты смотрѣть не возвратился-ли его постоялецъ. Прибытіе длинноногаго покровителя уничтожало всѣ безпокойства добраго мужика; онъ спѣшилъ подѣлаться съ женою этою радостью, выпивалъ въ тотъ

день лишнюю чарку вишневки, и съ полнымъ убѣжденіемъ въ успѣхъ покрикивалъ на другой день въ полѣ на сѣрыхъ воловъ своихъ.

У Шкварки былъ девятилѣтній сынъ Хомка. Хомка этотъ былъ большой шалуни и проказникъ, и хотя ему часто случалось пробовать березника, однако же это его не унимало. Вотъ однажды сидѣлъ онъ противъ хаты и ѣлъ подсолнечниковыя сѣмечки, а между-тѣмъ все посматривалъ на анство гнѣздо, до котораго ему хотѣлось добраться. Въ это время мимо его гналъ вола сосѣдній мальчикъ, Игнашка Коники, и забѣжалъ къ Хомкѣ полускаты сѣмечекъ; немного погодя присоединился къ нимъ сынъ Бондаря, Яшка Бондаренко. И вотъ три шалуна, пощелкивая сѣмечки, составили коварный заговоръ противъ анста. Имъ захотѣлось вынуть изъ гнѣзда яйца и попробовать каковы они вкусомъ, а на мѣсто ихъ положить такое же число гусиныхъ яицъ и посмотреть, что изъ этого будетъ.

Сказано — сдѣлано. Выждавъ благоприятную минуту, когда и самецъ и самка вылетѣли въ поле, что впрочемъ случается

очень рѣдко, ибо одинъ изъ нихъ обыкновенно остается въ гнѣздѣ, они съ необыкновеннымъ искусствомъ и скоростью исполнили свой замыселъ, и когда самка возвращалась на насѣсть, краденныя яйца были уже сварены въ сметку, и мальчишки, сидя на заваленкѣ, ѣли ихъ безъ соли и безъ хлѣба, между-тѣмъ какъ пестрая свинья, похрюкивая, пожирала бросаемую ими на землю скорлупу.

Доброе, доверчивое семейство апствовъ, привыкшее къ безусловному покровительству людей, не подозрѣвало зла, ему сдѣланнаго. Самка со всею нѣжностію исправляла материнскую обязанность, самецъ приносилъ ей самыхъ вкусныхъ змѣй, самыхъ жирныхъ лягушекъ; урочное время прошло; въ гнѣздѣ послышалось чириканье птенцовъ; внѣ себя отъ радости, самка издала пронзительный крикъ, вызывая съ поля отца привѣтствовать своихъ дѣтенышей; стрѣлою мчится онъ на понятный ему зовъ, быстро машетъ длинными крыльями, дикимъ крикомъ и трескомъ изъясняетъ свою радость,—и вотъ, распутивши крылья, онъ кружить надъ гнѣздомъ, опускаясь

обнять своихъ птенцовъ. Въ его клеву только - что пойманная ящерица; на его крикъ три птенца подняли головы... Судья правосудный! Какъ выразить изумление аиста, когда, вмѣсто благородной своей породы, витающей въ поднебесьи, онъ увидѣлъ трехъ гусенятъ съ тупыми носами, на короткихъ ногахъ, которыхъ современемъ непременно начинять кислой капустой и съѣдать ни за грошъ. Какое поношеніе для благороднаго аиста! Кто разгадаетъ тоску растерзашаго его сердца! Ящерица давно уже лежала на землѣ, но онъ все еще кружилъ вокругъ своего гнѣзда, вытянувъ длинную шею, съ распущенными крыльями. Наконецъ, когда не оставалось для него болѣе никакого сомнѣнія, что это дѣйствительно были гуси, а не аисты, онъ поднялся и скрылся изъ виду.

Шкварка, Бондаренко и Коникъ очень смѣялись этой сценѣ.

Три дня не было аиста; онъ явился на четвертый и за нимъ десятки, сотни, тысячи аистовъ, вѣроятно со всей Херсонской, а можетъ быть и Таврической губернии, потому-что птица эта не водится стал-

ми. Вся эта туча съ пронзительнымъ крикомъ окружила трехъ гусенятъ, и съ видомъ величайшаго удивленія, что доказывалось разинутымъ ртомъ и вытянутою шеею, смотрѣла на необыкновенное происшествіе, случившееся въ ихъ породѣ. Каждый изъ нихъ со всѣхъ четырехъ сторонъ подлеталъ къ гнѣзду, улеталъ подѣлится изумленіемъ, и снова возвращался по нѣскольку разъ. Наконецъ стадо начало рѣдѣть, и когда остались только хозяева дивнаго дива, самецъ со всею яростію бросился на самку, грызъ ее клевомъ, билъ крыльями, терзалъ когтями и черезъ нѣсколько секундъ убилъ злополучную самку. Потомъ, обошедши ее нѣсколько разъ и удостовѣрившись въ дѣйствительности ея смерти, онъ свѣчей поднялся кверху, сдѣлалъ нѣсколько круговъ къ поднебесью, потомъ заложилъ на спину голову, крѣпко прижалъ крылья, какъ чурбанъ грянулся на землю — и упалъ мертвый возлѣ самки.

Я не прибавилъ ни слова къ тому, что говорилъ мнѣ мой добрый рассказчикъ о несчастной судьбѣ этихъ двухъ аистовъ.

Пронсшествіе это, случившееся однакоже давнымъ-давно, подтвердили мнѣ и другіе тамошніе помѣщики. Впрочемъ, если не вѣрите, потрудитесь выѣхать къ Московской заставѣ въ то время, когда четверть пшеницы будетъ продаваться въ Одессѣ по 50 или около того рублей. Когда вы увидите коляску, съ стекляннымъ зонтомъ спереди, а въ ней мужа съ женою, перваго больнею частію во фракѣ, который донашиваетъ онъ въ дорогѣ, сына или дочь, и бабу съ платочкомъ на головѣ, исполняющую должность горничной, — останавливайте ее смѣло: это Херсонскій помѣщикъ. Еслиже вамъ попадется бричка на заднихъ рессорахъ, съ шестеркою собственныхъ лошадей и сзади мазница съ дегтемъ — еще лучше. Это помѣщикъ Ольвіопольскаго уѣзда, того самаго, въ которомъ случилось описанное мною происшествіе. Спросите ихъ — они навѣрное подтвердятъ справедливость моего разсказа.

В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ.

С Т А Н С Ы.

Блаженъ, кто мирно обитаетъ
Въ завѣтномъ прадѣдовъ селѣ,
И отъ проѣзжихъ только знаетъ
О бѣлокаменной Москвѣ.

Не въ даль стремится онъ мечтою,
Не къ морю мысль его летитъ,
Доволенъ рѣчкой небольшою —
Она свѣтла, она шумитъ.

Не измѣняясь въ тихой долѣ,
Благословляя небеса,
Онъ все на то же смотреть поле,
На тѣ же нивы и лѣса.

Онъ сердцемъ чистъ, онъ правъ душою,
Безъ думъ высокихъ, онъ умѣлъ
Одной вседневной добротою
Украсить бѣдный свой удѣлъ.

Ему страстей волненья чужды,
Не прерванъ ими сладкій сонъ,
Живеть безъ прихотей, безъ нужды,
И черныхъ дней не знаетъ онъ.

Вотъ домъ уютный межъ холмами,
Въ тѣни березъ вотъ Божій храмъ,
И вотъ погость, съ его крестами,
Гдѣ межъ родныхъ онъ ляжетъ самъ.

И живъ священникъ тотъ безвѣстный,
Который здѣсь его крестилъ,
Вѣнцомъ съ подругою прелестной
На радость жить благословилъ.

И радость съ ними — и всечасно
Она ему мнѣй, мнѣй,
И жизнь онъ тратитъ не напрасно
Въ земномъ раю семьи своей.

Привычка наслажденій мирныхъ,
Веселыя заботы дня,
Забавный страхъ разсказовъ дивныхъ
Бругомъ вечерняго огня.

О вы, обычаи святые,
Любовь домашнего быту!
Отрады ваши золотыя
Делать жизни суету.

Преданья прежняго, роднаго
Душѣ пѣнительно хранить,
Блаженства сердцу нѣтъ другаго,
Какъ жить однимъ, одно любить.

ИВАНЪ КОЗЛОВЪ.

Въ каждый незначащій случай, въ каждое слово бесѣды
Горе Италиа, какъ воздухъ проходитъ. Въ обычномъ
разсказѣ

Слышишь бѣненіе сердца, душевную чувствуемъ бурю.....

Солнце, склоняясь къ закату, въ узкія окна взглянуло.
Демонъ, къ Италиу приближась, тайную рѣчь съ нимъ
заводитъ: —

«Полю. — Пора. — Привѣтная Муза тебя ожидаетъ.
«Пѣсни за пѣсней, какъ волны, полюбуются. — Тростникъ
твой

«Списывать ихъ не успѣеть. Пойдемъ же; время крылато.»

— Муза моя, — Италиъ отвѣчаетъ, — умна, не ревнива.
Часто случалось: прощу вдохновеній, а добрая Муза
Образъ божественной Деліи приметъ — и пѣсни полюбуются,
Лучшія пѣсни, мой Демонъ! Деліа — лучшая Муза! —

Демонъ умолкъ, а Италиъ о времени началъ бесѣду:
Съ ѣдкой сатирой смѣлся Сатурну съдому и Паркамъ:
Царство Плутона отчизной, эту жизнь ссылкой тяжелой
Назвалъ — и слезы дополнили смыслъ необдуманной рѣчи.

Солнце угасло и сумракъ на гордыхъ улегся пла-
ластрахъ,

Грусть съ капителей кудрявыхъ глядѣла; бесѣда затихла
Демонъ сомнѣній снова къ Италиу съ рѣчью подходитъ;
«Слушай! Въ кости играютъ. Вчера ты молился Фортунѣ.
«Счастье Оракулъ прорекъ. Обѣты его непреложны.
«Время крылато. Фортуна спяла измѣнитъ. Пой-
демъ - же!»

Демонъ умолкъ, а Италиъ о златѣ бесѣдовать началъ. —
«Бѣдный страдалецъ» Демонъ промолвилъ: «Деліа скучно

«Слушать несвязныя рѣчи о низкихъ, презрѣнныхъ предметахъ;

«Добрая Делія тайны твоей не вѣдаетъ, вѣдать не хочетъ;

«Проблесковъ горькаго чувства не видитъ. Съ тайной насмѣшкой

«Можетъ быть слушаетъ повѣсть губительной страсти.

«Какъ на безумца можетъ быть смотреть. Въ лукавомъ молчаньи

«Тысяча горькихъ догадокъ гнѣздится. Въ женское сердце

«Мысль не проникнетъ. Можетъ быть Делія внемлетъ Италу

«Изъ состраданья.» —

— Изъ состраданья!! —

По улицѣ спящей

Звонко неслась колесница. Возницей — былъ *Демонъ Сожившій.*

И. КУКОЛЬНИКЪ.

КЪ ПОЭТУ.

Когда вокругъ тебя кипятъ живыя воды,
Перебѣгаетъ шумъ во глубинѣ лѣсовъ,
Блестящихъ мириадъ на небѣ хороводы,
Какъ сонмы Ангеловъ поютъ Творца мировъ;

И слышится тебѣ, какъ бьется пульсъ природы,
И внятень гимнъ тебѣ неслышныхъ голосовъ,
Передъ тобой встаютъ отжившіе народы —
И ясно ты прочелъ всю лѣтопись вѣковъ:

Тогда твой часъ приспѣлъ; твори, во славу Бога;
Миръ древній и святой намъ долу воскрешай,
Будь органомъ небесъ; пусть жизнь твоя убога,
Безсмертье ждетъ тебя, — будь бодръ, не унывай!
Но бойся осквернить святыню чувствъ ты ложью:
Какъ древле Царь - поэтъ, ты пой во славу Божью.

Л. ЯКУБОВИЧЪ.

**РАЗСКАЗЪ НЕВОЛЬНИКА,
ХИВИНСКАГО УРОЖЕНЦА АНДРЕЯ
НИКИТИНА. 1830.**

Звали меня въ неволѣ *Абдуллою*, по имя мое *Андрей*, по отцѣ *Никитинъ*; отроду мнѣ 38 лѣтъ, родился я въ самой *Хивѣ*. Отецъ мой, *Никита Сапожниковъ*, былъ Русскій плѣнникъ; а гдѣ и какъ былъ взятъ онъ, этого я не знаю. Онъ умеръ лѣтъ 80-ти отроду; въ *Хивѣ* жилъ слишкомъ 60 лѣтъ; былъ женатъ на Русской плѣнницѣ, *Татьянѣ*; а откуда она взята, также не знаю. Оба они были невольниками *Хивинца Метъ-Назара*. Отецъ умеръ уже лѣтъ тому съ десять, мать лѣтъ шесть. По-Русски я, какъ уроженецъ *Хивинскій*, почти не знаю во-

все (*); старался, гдѣ случалось, видѣться съ Русскими, припоминать слова, которыя слыхивалъ отъ отца и матери въ молодости своей, — а говорить самъ не могу. На 18-мъ году отроду соскучился ^я непомерно по родишѣ отцовской и по своей Христіанской вѣрѣ, въ которой держалъ меня отецъ тайно и наложилъ проклятіе на меня, коли я отъ нея отстану. Я, съ дозволенія отца моего, который по дряхлости не могъ слѣдовать за мною, бѣжалъ съ двумя Русскими Татарами въ Бухару. Татары эти были бѣглецы изъ Россіи, и называли себя, какъ обыкновенно, Мулами. Я слылъ также всюду Татаринномъ; отецъ мой далъ имъ довольно денегъ, и они обѣщались выпроводить меня черезъ *Ташкендъ* въ Россію, но обманули и покинули меня въ Бухарѣ; спасибо хоть за то, что не выдали. Такимъ образомъ жилъ я въ Бухаріи, въ разныхъ мѣстахъ, 19 лѣтъ; нѣсколько разъ пытался я уйти, да неудача такъ напугала меня, что, убоясь смерти, притихъ я и чуть не состарѣлся-бѣло на чужой, постылой землѣ. Отецъ мой го-

(*) Показаніе это отбиралось посредствомъ толмача.

ворилъ мнѣ, когда отпускалъ меня, что онъ изъ Симбирской губерніи, и далъ мнѣ обстоятельную записку о родинѣ и сродникахъ; я носилъ ее при себѣ, во всѣ 19 лѣтъ моей бытности въ Бухаріи; отъ этого она такъ истерлась, что когда я, при возвращеніи моемъ нынѣ, въ Россію, черезъ Хиву-же, показалъ ее одному изъ Русскихъ невольщиковъ, то онъ уже могъ разобрать не всѣ слова; а потому, чтобы она не истерлась вовсе, переписалъ онъ мнѣ потихоньку все, что могъ въ ней разобрать — и эту-то записку представилъ я, по прибытіи своемъ сюда, съ караваномъ, Г-ну Войсковому Старшинѣ Арженухину. Нашедши возможность наняться въ работники къ одному изъ хозяевъ этого каравана, мпновалъ я благополучно и самую Хиву и степь, и прибылъ, благодаря Бога, на отцовскую родину свою. Все, что только по простотѣ своей знаю и помню, готовъ я и радъ отвѣчать на вопросы ваши, но боюсь и прошу не сбивать, не путать меня, чтобы я не сказалъ, нехотя, чего не знаю.

Городъ *Хива* имѣетъ глинистую, круглую крѣпость; стѣны ея толщиной внизу 3 са-

жени, вверху аришиъ, вышиною аришиъ восемь. Въ гребнѣ стѣны этой пробиты, чрезъ каждую сажень, бойницы, скважины, для обороны. Пушекъ на стѣнѣ этой нѣтъ, рва никакого; воротъ четыре, а въ нихъ притворы деревянные, толстые, двойные: снаружи одни, внутри другіе. Однѣ ворота называются *Бухарскими* — онѣ ведутъ на Бухарскую дорогу; другія *Водными* — Сеударбазы, чрезъ нихъ возятъ воду изъ *Хоуза* или большаго водоема, который отъ стѣны крѣпостной въ полуверстѣ. Третьи ворота, на западъ, *Ташъ-хоузъ*: изъ нихъ дорога лежитъ на мѣстечко того-же имени; четвертая, ведущія къ Караванъ-Сараю, выстроенному подъ самой крѣпостной стѣной, именуются *Сарай-дарбазъ*.) Въ крѣпости домовъ тысячи двѣ; всѣ глиняные, плоско-кровельные, безъ оконъ; скважины для свѣта сверху. Улицы кривыя, тѣсныя, такъ что одна телега съ пуждою проѣхать можетъ, а двѣ встрѣчныя не разъѣдутся; одной надо сворачивать въ переулочекъ. Вокругъ крѣпости также домовъ не мало; на версту, по крайней мѣрѣ, во всѣ стороны. Около Бухарскихъ воротъ такой-же водоемъ, какъ

у Водяныхъ; въ крѣпости, внутри самаго города, одинъ только, Ханскій, колодезь; онъ вырытъ подлѣ *Медреса*, училища. Близъ крѣпости, на полуденную сторону, есть озеро, длиною 100, а шириною 20 сажень: оно соленое, и въ немъ только бѣлье моютъ, да купаютъ лошадей. Вся земля вокругъ крѣпости вспахана и засеяна. Канава, *Полванъ-лянь*, на которой стоитъ городъ, не шире 4-хъ, но и не мельче 10-ти сажень: воды въ ней однако-же никогда не бываетъ болѣе, какъ въ ростъ человѣка. Рѣка *Алударья*, изъ которой проведена канава эта, отъ *Хивы* на два дни пѣшаго ходу. Изъ этой канавы выведено 160 малыхъ канавъ, во всѣ стороны, для поливки и поимки пашень и садовъ. *Караванъ-Сарай* четырехугольный, каменный, о двухъ жильяхъ, изнутри лавки. Рядомъ съ *Караванъ-Сараемъ* строится, нынѣ, Русскимъ плѣнникомъ, каменное зданіе для *Медреса*.

Ханъ *Хивинскій Алла-Куль Мухаммедъ-Рахимъ* живетъ внутри крѣпости, въ особомъ зданіи, дворцѣ, похожемъ также на крѣпость. Женъ у него, никакъ, семь, а на вѣрное не знаю; одна изъ нихъ дочь какого-

то Киргизскаго Хана или Султана. Хивинцы Хана своего не любятъ болѣе за то, что онъ окружаетъ себя Русскими плѣшными и Персіянами, а подданнымъ не довѣряетъ. Русскихъ у него болѣе ста человекъ, въ томъ числѣ 54 человека пушкарей. Пушекъ, разныхъ, не болѣе 30, по онѣ почти всѣ негодны и лафетовъ нѣтъ ни на одной.

Г. *Ургличъ*, отъ Хивы день пѣнаго ходу. Маленькая глиняная, плохая крѣпость. Домовъ 150; жители Сарты.

Г. *Азарысѣ*, отъ Хивы на два дни ходу, отъ Урглича на одинъ. Крѣпость глиняная, исправная, обѣ однихъ воротахъ, съ водянымъ ровомъ; домовъ съ 200; жители Сарты. Здѣсь Аталкомъ братъ Ханскій.

Г. *Худжиш*, отъ Хивы верховой ѣзды два дни, на верблюды 5 дней. Маленькая глиняная крѣпость; домовъ 100; жители: Узбеки, Каракашаки и Киргизы. Вкругъ крѣпости жилья много; караванная дорога изъ Хивы въ Россію лежитъ на *Худжиш*, или *Худзеиш*.

Г. *Ташхоузъ*, два съ половиною дня ходу отъ Хивы; въ немъ мнѣ бывать не случилось.

Конградъ — такъ называютъ пынь въ Хивѣ разоренный, при устьѣ р. Аму лежащій, городъ, и называютъ Каракалмаковъ, народъ бѣдный, кочевой; по числомъ оны значительнѣе Хивинцевъ. Каракалмаки платятъ *закатъ* — подать — и именно сороковую голову скота, по общему Мусульманскому обычаю; но не любятъ Хана: повинутся только силѣ и необходимости.

Болѣе мѣсть явъ Хивѣ не помню никакихъ.

Бухара или *Бохара* обнесена большою, четырехугольною глиняною стѣною, въ коей воротъ 12, оны также деревянныя; домовъ будетъ до 10 т., они всѣ глиняныя; улицы узки, неровны; на тѣлегахъ, арбахъ здѣсь вовсе не ѣздятъ. Хана зовутъ Ампромъ; у него, сказывали, 40 женъ; лѣтъ ему 25. Есть у него и пушки — сколько, не знаю; а возятъ ихъ, малыя на верблюдахъ, а большія на арбахъ. Сколько войска въ Бухарѣ — также не знаю; видѣлъ, однажды, когда Ханъ собирался въ г. *Куджуганъ*, куда ѣздитъ каждый годъ, на богомолье, что войска при немъ было 500 человекъ. Хана своего Бухарцы любятъ и называютъ его *умнымъ*. Подать собираетъ оны по червошцу

съ тапапа земли; а кто ходитъ воевать, тотъ заката не платитъ никакого. Мечети и Медресы въ Бухарь есть кирпичныя, высокія, красивыя.

Г. *Куджугатъ* — два дня пѣшаго ходу отъ Бухары; домовъ сотъ пять; крѣпость глиняная съ тремя воротами; водяной ровъ сажени въ 4 ширины. Канава проведена изъ рѣки Самаркандъ (*), которая течеть съ горь, видныхъ изъ города Самарканда и покрытыхъ всегда снѣгами.

Г. *Нурата* — маленькая крѣпость на большомъ курганѣ, отъ Бухары на два дня верховой ѣзды. Въ городѣ этомъ лежитъ святой *Нурата*. Домовъ около ста. Мечети и Медресы кирпичныя, большія. Въ самой крѣпости есть ключевая вода, и течеть въ водоемъ шириною въ 20, а длиною во 100 сажень. Въ ключѣ этомъ множество рыбы, называемой *авилъ*, то есть святою; ее ни ловятъ, ни ѣдятъ, и говорятъ, что кто бы посягнулъ на это, тотъ бы неминуемо умерь. Подъ городомъ селеніе того-же имени, *Нурата*; въ немъ дворовъ болѣе 1000.

(*) Заревшанъ.

Бешамбе — большая, глиняная крепость, домовъ до 1000, на самой рѣкѣ *Самаркандь*, черезъ которую ведетъ каменный мостъ. Близъ крепости мечеть, въ которую ходятъ жители молиться по два раза въ годъ. Отъ Бешамбе до Самарканда насажены лѣсъ, тутъ ⁽¹⁾, карагачъ ⁽²⁾, гуземъ, сауть, тали, кара-сауть, акъ-сауть. Деревья разсажены, по канавамъ, густо и чисто.

Хатърги — три дня ѣзды отъ Бухары; въ немъ я не бывалъ.

Большой Курганъ — три дня ѣзды отъ Бухары; крепость глиняная, домовъ съ сотню.

Чиллакъ — семь дней ѣзды отъ Бухары; крепость глиняная; избъ неболе сотни.

Нинь-Курганъ — на 7-мь дней ѣзды отъ Бухары; домовъ 50. Подъ этимъ городомъ стоялъ Ханъ, когда шелъ на городъ *Юзакъ*; но моръ въ войскѣ заставилъ его воротиться.

Юзакъ — большая глиняная крепость. Городъ нынѣ пустъ вѣсье. Городомъ правилъ особымъ Ханъ, *Уратюбе*; *Коканъ*

(1) Шелковица. (2) Лиственница.

ской Ханъ выгналъ его; а у этого Бухарскій Ханъ отнялъ городъ осенью прошлаго года (1829).

Юпаръ — старая, выморочная и покинутая крѣпость. Зараза погубила часть жителей, другіе ушли сами.

Самаркандъ — отъ Юпара день пѣшаго хода, отъ Бухары 7-мь дней; большой городъ и добрая крѣпость. Домовъ тысячи четыре; жители Сарты. Рѣка Дарья (*) изъподъ Самарканда идетъ на всю Бухарию; рѣка эта бываетъ велика, а въ убѣль мѣлѣетъ вовсе.

Шерсавесъ-Шагу-Сабзъ. Въ этомъ городѣ не бывалъ я; слышалъ только, что отъ Самарканда до него три дня ѣзды и что городъ великъ.

Дебетъ — небольшая крѣпостца, домовъ сто. Отъ Бухары 7-мь дней ѣзды, отъ Самарканда одинъ день.

Уба — селеніе домовъ въ 200; отъ Бухары верстъ 10, на канавѣ изъ той-же рѣки.

Убханъ, маленькая крѣпость, домовъ съ 50.

Каракулъ шибетъ, со стороны Хивы,

(*) Дарья — общее нарицательное, рѣка.

большую, глиняную крѣпость; домовъ въ ней 400, а вокругъ 1500. Отъ Бухары два дня ѣзды.

Хараджи—деревня домовъ въ 400, стоитъ на самомъ песчаномъ мѣстѣ, такъ что, говорятъ, будто ее всегда 4 года заноситъ пескомъ и 4 года опять песокъ уноситъ. Отъ Бухары 4 дня ѣзды.

Илькекъ—крѣпость; домовъ до 500. Это пограничная съ Хивою крѣпость, на рѣкѣ *Дарьѣ*. Изъ Бухары караваны доходятъ сюда въ 5 дней, грузятся на суда и идутъ водою до Хивы. По обратно, противъ воды, товары водою не ходятъ, а караваны идутъ степью, отъ Хивы до Бухары въ 8 дней. Дорога или гористая или бугристая и песчаная; ни воды, ни жилья нѣтъ вовсе отъ самой Хивы до *Каракула*; запасаются въ дорогу лѣтомъ водою, а зимою льдомъ.

Больше Бухарскихъ городовъ не помню; но знаю, что не всѣ.

Въ мое время была повальная болѣзнь въ Бухарин и въ Хивѣ. Она оказалась напередъ въ Бухарскомъ войскѣ, которое шло подъ *Юзакъ*, на *Ташкендской* границѣ, такимъ образомъ: въ прошломъ году

(1829) Бухарскій Ханъ выступилъ къ этому мѣсту; не доходя до него за сутки ѣзды, сталъ, чтобы собрать все войско, и стоялъ двѣ недѣли. Вдругъ люди начали умирать скоропостижно; Ханъ распустилъ войско, воротился въ Бухару и заперся тамъ. Тамъ сидѣлъ онъ трое суток; народъ не переставалъ умирать, и Ханъ опять велѣлъ отворить градскія ворота. По всему пути Ханскому, въ Самаркандѣ, Шерсавестѣ, Дебетѣ, Курганѣ, Бешамбѣ, оказался тотъ-же моръ. Я былъ въ Нуратѣ: тамъ въ одну недѣлю умерло болѣе 400 человекъ; въ день по 60 человекъ и болѣе. Жители зарывали мертвыхъ безъ мулъ, которые не успѣвали отпѣвать. Болѣзнь продолжалась въ Бухарѣ три мѣсяца. Проходя съ караваномъ Хиву, слышалъ я, что Хивинскій Ханъ также ходилъ съ войскомъ въ Персію и привелъ, будтобы, изъ 40 т. только 300 человекъ домой. Въ Хивѣ моръ стоялъ мѣсяць. Признаки болѣзни такіе, что душить грудь и сердце болить и тянетъ сильно къ штыю (*). Больные не проживали трехъ дней; а кто про-

(*) Это была холера.

живаль больше — выздоравливалъ. Хивинскій Ханъ нынѣшняго года опять ходилъ на Персіянь, въ то-же мѣсто, однако-же мору не оказалось; онъ привелъ съ собою до 1,000 семействъ плѣнныхъ; Шитовъ обратилъ въ рабство, а Суншитовъ, единовѣрецъ, поселилъ, и забралъ оставленные въ прошломъ году, за болѣзнию въ войскѣ, у Каракалмаковъ пушки. Хивинцы изъ этого похода привезли много костей погибшихъ въ прошломъ году товарищей; родственники умершихъ дорого за это платили. Бухарцы и Хивинцы никогда не покидаютъ умершихъ или погибшихъ; они всегда ихъ вывозятъ. Мнѣ случилось видѣть однажды вотъ-что: изъ *Юпара* поѣхали, за 4 дня ходу, четыре человека по дрова, и возвратились вдвоемъ; родственники умершихъ поѣхали ихъ отыскивать, и я былъ съ ними. Одного трущъ нашли; Узбеки очистили всѣ кости, мясо зарыли тутъ, на мѣстѣ, а кости увезли съ собою.

Путь, по которому караванъ шелъ изъ Бухары на Хиву и въ Россію, вотъ-какой: изъ Бухары два дня ходу до Каракула; дорога ровная, на пути двѣ деревни. Изъ

Каракула идутъ уже прямо, степью, безъ жилья. Тутъ вдалѣ я только, въ лѣвой рукѣ, Араповъ съ овцами, которые тутъ зимуютъ. Дорога изрядная: есть песокъ и горы. Водюю, какъ говорилъ я, запасаются изъ Каракула; идутъ 7-мь дней до *Азарыса*, переправляются черезъ рѣку и идутъ два дня до *Хивы*. Тутъ много деревень, много канавъ, на которыхъ есть мосты; кажется, одинъ только каменный.

Водяной путь таковъ: изъ *Бухары* на *Каракулъ* два дня, тамъ до *Хараджи* два дня; дорога песчаная, гористая. Оттолъ въ *Ильгикъ* то-же два дня. Тутъ водюю до *Азарыса* дней пять, и наконецъ въ *Хиву*.

Путь изъ *Хивы* въ Россію, которымъ мы шли: по переходѣ 3-хъ верстъ, изъ *Хивы*, начинаются пески; ими идешь верстъ 10; тамъ дорога добрая, до озера, неглубокаго, но длиннаго, съ полверсты шириною. Черезъ него идутъ вбродъ; вода прѣсная. Можно и обойти, на *Турлякъ*, но это два дня лишняго ходу. Полдня ходу отъ озера, Ханскіе сады, на канавѣ сажень 5-ть ширины; воды въ ней бываетъ выше росту человека; черезъ канаву ведетъ мостъ. Тутъ пойдетъ степь, *Майлы-*

Ченгель, гдѣ воды и травы довольно. Здѣсь караванъ становится, поджидаетъ остальныхъ и собирается. Сюда-же прїѣзжаютъ наряженные Ханомъ *Ясаулы* для сбора пошлины, по червонцу съ верблюда. Отъ *Хивы* до этого мѣста всего ходу $1\frac{1}{2}$ дня. Отселѣ день пути до *Худжили*; дорога ровная, но водою запасаются въ *Майлы-Ченгель*. Изъ *Худжили* дорога пойдетъ не торная, не битая, а просто глухою степью, и ведутъ *вожаки*. По этой степи, гдѣ кочуютъ *Каракалпаки*, шли мы до рѣки *Дары* (*) 5-ть дней. Вдоль рѣки 10-ть дней. Тутъ есть тальникъ и кустарникъ; тутъ караванъ переправился, вбродъ, черезъ заливъ *Караузакъ*, сажень 60; тамъ песочный островъ и опять на столько же воды. И на томъ берегу кочуютъ *Каракалпаки*; кочевьями ихъ шли мы сутки. Тутъ заливъ остался влѣвѣ, а караванъ шелъ 10-ть дней степью, озерами, въ которыхъ была, частью, годная вода. Потомъ шли два дня по безводью, съ запас-

(*) Аму-Дары. Описанная здѣсь дорога идетъ черезъ Усть-Уртъ, следовательно караванъ рѣкъ Аму и Сыръ не переходитъ.

пою водою, по мелкимъ камышамъ, и подошли къ подошвѣ горы, гдѣ была вода въ ямахъ, въ колодцахъ. Поднявшись, шли мы до *Аральскаго* моря 6 дней; на пути дождевой воды и травы довольно. Берегомъ моря, до *Акбулака* 6 дней; воду брали въ рытыхъ ямахъ; далѣе Акбулака еще три дня, и покинули море въ правой рукѣ и отшатнулись влѣво, дошли до колодцевъ, числомъ 20, но вода была только въ четырехъ. Тутъ отдыхали два дня, запаслись водою и ночевали одну ночь безъ воды. На другой день дошли до озеръ *Каткака*, а шли озерами четыре дня до горы, подъ которою проточная вода; поднявшись на гору, подошли снова къ той-же рѣчкѣ, и шли три дня вдоль по ней, оставивъ ее влѣвѣ, и прибыли въ кочевья Киргизца *Кутебара-Арелана* (*). Когда здѣсь остановился караванъ нашъ, то человекъ 20 Киргизовъ пріѣзжали будто-бы отъ *Кутебара* за поборомъ, сказавъ, что иначе не пропустятъ насъ. *Караванъ-Баши* отвѣчали, что не даютъ ничего

(*) Знаменитый въ степи разбойникъ, коего смерть описана въ повѣсти «*Бикей и Маулана*».

и не боятся *Кутебара*. На другой день дѣло объяснилось: *Кутебаръ* ничего объ этомъ не зналъ, а напротивъ самъ пріѣхалъ къ каравану съ просьбою. Онъ навезъ *кумысу* много и подчивалъ Караванъ-Башей и купцовъ, и просилъ, нельзя-ли постараться, на *Лини*, о высвобожденіи брата его, захваченнаго за что-то Русскими. Здѣсь простоялъ караванъ два дня, тамъ шелъ семь дней и прибылъ на рѣку *Шлекъ*. Всего до *Шека* 66 дней ходу, съ привалами и роздыхами. Караванъ потому поздно вышелъ, что *Хивинскій Ханъ* ходилъ на *Персію*, а безъ него каравана не отправляютъ. Коли, какъ теперь, *Бухарскій* и *Хивинскій* караваны идутъ вмѣстѣ, то первый держителъ правой стороны, второй лѣвой, во весь путь. *Бухарцы* и *Хивинцы* знали, что, по случаю болѣзни, положено имъ держать карантинъ подъ *Оренбургомъ*, а какъ и безъ того уже караванъ опоздалъ, по случаю отбытія *Хана*, то и много толковали, при выступленіи, поспѣютъ ли они къ *Макарьевской ярмаркѣ*, или нѣтъ? Наконецъ порѣшили, что, буде не было-бы карантина, то еще поспѣть можно.

Караванъ-Баши бываетъ тотъ, кому, изъ числа торговцовъ, самъ Ханъ поручитъ должность эту, и ему всё должны повиноваться. Ханъ даритъ его халатомъ и лошадью, коли караванъ воротится благополучно. *Юлбаши* — есть вожакъ; вожаки всегда бываютъ Киргизы и должны знать путь днемъ и ночью, назначать привалы, рассчитывать ходъ и прочее. На пути они старше всѣхъ.

Въ Хивѣ Русскихъ плѣнниковъ, навѣрно, будетъ до двухъ тысячъ, а многіе считаютъ и болѣе. Въ Бухаріи, я Русскихъ плѣнныхъ не видалъ; говорятъ, что есть въ самой Бухарѣ, но тамъ я пробылъ недолго. Въ Хивѣ бѣглыхъ Русскихъ Татаръ немного, неболѣе 50; но въ Бухарѣ будетъ ихъ болѣе 1000. У нихъ особій Караванъ-Сарай, *Ногай*, гдѣ работаютъ ихъ человекъ 500 чеботарей. Всѣ они бѣжали въ разное время изъ Россіи. Тамъ всѣхъ Русскихъ Татаръ называютъ *Ногай*. Было время, что Ханы давали всѣмъ бѣглымъ Татарамъ этимъ по 6-ти червонцевъ въ годъ и еще одѣвали и кормили ихъ; но нынѣ не только ничего не стали давать имъ, а напротивъ гоняютъ; а

которые работают въ Караванъ - Сараѣ, взносятъ за себя по червонцу въ годъ заката. Сдѣлалось это потому, что стало ихъ накопляться слишкомъ много и стали они мошенничать и воровать. Ханъ Бухарскій содержалъ при Медресе, на свой счетъ, нѣсколько человекъ богомольцевъ: въ томъ числѣ есть также человекъ 40 Русскихъ Татаръ. Но и этихъ Ханъ сталъ лѣтомъ выгонять на работу; и работу эту, говоритъ Ханъ, должны они исправлять для собственнаго спасенія своего. По этому, знаю я одного Татарина, который, живъ дармоѣдомъ года съ три, работать не захотѣлъ, а бѣжалъ въ *Ташкентъ*. Онъ же мнѣ сказывалъ, что тамъ, въ Ташкентѣ, бѣглыхъ Татаръ нашихъ болѣе чѣмъ въ Бухаріи. Эти же Татары сказывали мнѣ, что прежде ихъ въ Бухарѣ много тайно убивали, а нынѣ они узнали это и предостерегаютъ другъ друга, чтобы никто изъ нихъ не входилъ въ дворы, а и того менѣе въ дома Бухарцевъ; тамъ со многими случалось вотъ-что: Бухарцы, какъ извѣстно, содержать женъ своихъ строго; не смотря на это, когда случалось хозяину отлучиться на нѣсколько

дней, то жены, призвавъ Татарина къ себѣ, подъ предлогомъ покупки обуви, заманивали его въ домъ, запирали на нѣсколько дней вмѣстѣ съ собою, а потомъ, чтобы дѣло не обнаруживалось, убивали его, и никто о бездомномъ пришельцѣ не спрашивалъ.

Прошедшую зиму, одинъ изъ плѣнниковъ Русскихъ, по чину *Биль-Булы*, то есть, большой надъ пушками, вынулъ мѣдную пушку, которая, сказываютъ, стала Хану въ три тысячи рублей; ее при первой стрѣльбѣ разорвало. Осенью этого года повѣсили Хивинцы одного Киргиза за то, что у него нашли письма изъ Россіи къ Русскимъ плѣнникамъ.

Письма эти возятъ Киргизы зашитыя въ пластьяхъ, въ шапкахъ, въ сапогахъ, да и тутъ попадаютъ.

Недавно Ханъ приказалъ привезти руды, изъ горы, которая на 5-ть дней ходу отъ Хивы — и велѣлъ Русскимъ плавить руду эту на серебро. Но тѣ, попытавшись, отвѣчали, что плавить изъ нея можно, да не серебро, а олово. Въ Хивѣ и въ Бухарѣ дѣлаютъ очень плохой порохъ; а лучший

привозится изъ Россіи. Изъ Россіи же идетъ въ Хиву и въ Бухару много серебряныхъ и мѣдныхъ денегъ, которыя тамъ чеканятъ на свой ладъ. А своего серебра, желѣза или мѣди въ земляхъ тѣхъ нѣтъ. Во время войны Хивинскаго Хана съ Бухарскимъ, караваны, однако-же, свободно ходятъ туда и сюда. Тамъ все знаютъ, что дѣлается въ Россіи: тамъ, напримѣръ, слышно было на базарахъ, что у насъ былъ наборъ, и распустили сверхъ этого слухъ, что Турки взяли Казань. Пльнныя наши часто бранятся за такія вѣсти съ Хивинцами, за вѣсти, которыми тамъ вѣрять не одинъ базарный народъ, а *Кушъ-Беги* и самъ Ханъ, которые ничѣмъ не лучше, ниже умѣе любовя тамошняго изувѣра. Такъ, напримѣръ, самъ я не разъ слышалъ, какъ бѣдствующіе пльнники наши разсчитываютъ Хивинцамъ великое могущество *Государя* нашего, *Благо-Царя*, и толкуютъ имъ, что Ханъ ихъ живетъ и дышетъ милосердіемъ Его, прибавляя, что Русскіе могутъ выручить страдальцевъ своихъ силою и разорить Хиву въ пухъ. Но тѣ всегда отвѣчаютъ, что коли могли бы Русскіе притти, такъ пришли бы

давно, и что они два раза уже пытались это сдѣлать и оба раза безуспѣшно (*).

При мнѣ двое Хивинцевъ изъ Урганча купили себѣ по невольнику, одинъ за 60, другой за 75 червонцевъ, изъ числа какихъ-то 12 человекъ, захваченныхъ Адаевскими Киргизами на Каспійскомъ морѣ, на рыболовствѣ. Покупщики долго ихъ осматривали, потомъ сторговались, сошлись и повели съ базара, какъ скотину. Сами Хивинцы никогда не берутся за тяжелую, земляную, полевую или садовую работу: это всегда дѣло раба. Еслибы не было у нихъ Русскихъ да Персiанъ, а иногда и Калмыковъ, то, не знаю, что бы вышло изъ садовъ и пашень ихъ, которыя требуютъ невѣроятныхъ, тяжелыхъ трудовъ, удобренiя, назема, напуска и спуска воды, поливки, а наконецъ еще требуютъ, чтобы часто пололи, стогнали птиць и прочее: словомъ, Хивинцы живутъ вовсе на счетъ невольниковъ своихъ, которыхъ таскаютъ Трухменцы и Киргизы, а изрѣдка, при набѣ-

(*) Хивинцы твердо увѣрены, что посылка вооруженнаго каравана въ 1824 году и походъ полковника Берга на Усть-Урть въ 1826, были неудачные попытки завладѣть Хивоемъ.

гахъ на Персидскія границы, и сами Хивинскіе Узбеки и Сарты.

Въ заключеніе обязаю я сказать, кто спасъ меня отъ живой смерти, вывезъ, не смотря на страшный и непарушаемый обычай Хивинцевъ предавать смерти всякаго, кто бы вздумалъ увести оттоль *Кяфыра*, невѣрнаго, въ Россію — это *Табуибай-Икинъ*, Киргизъ, *Чиклинскаго* рода, Назаровскаго отдѣленія, который взялъ меня въ работники. Во весь путь мой узналъ было меня одинъ только человекъ: бѣглый изъ Хивы-же Татаринъ, проживавшій у разбойника *Кутебара*, который, какъ упомянулъ я, навѣстилъ караванъ нашъ; но хозяинъ мой, *Табуибай*, увѣрилъ его, что онъ ошибся, — и тотъ замолчалъ. Но здѣсь, въ Оренбургѣ, пришедшіе съ караваномъ Хивинцы узнали все дѣло обстоятельно, и *Табуибаю* во вѣки вѣковъ нельзя болѣе казаться въ Хиву. *Ясаулы*, которые приѣзжаютъ, какъ сказывалъ я, осматривать караванъ и собирать пошлину именемъ Хивинскаго Хана, строго обыскиваютъ караваны: у меня было 20 писемъ отъ плѣнныхъ Русскихъ; я зарылъ письма на время

обыска въ землю, а послѣ воротился съ похода и забралъ ихъ, чтобы товарищи мои считали меня землякомъ своимъ Русскимъ, въ чемъ иные сомнѣвались, потому что я родился уже въ Хивѣ. И самъ я былъ принужденъ залѣзть въ тюки и просидѣть тамъ на все время осмотра каравана.

Върно. В. ДАЛЪ.

СУДЬБА РИМА.

(ИЗЪ 1-ой ПѢСНИ ВИРГИЛІЕВОЙ «ЭНЕИДЫ».)

Претерпѣвъ на пути въ Италію кораблекрушеніе, Трояне пристають къ Ливійскому берегу. Подеръшнвъ силы свои виномъ и дичью, они предаются горестнымъ воспоминаніямъ о погибшихъ товарищахъ...

И уже конченъ былъ плачь, когда Зевсъ отъ предѣловъ эфирныхъ

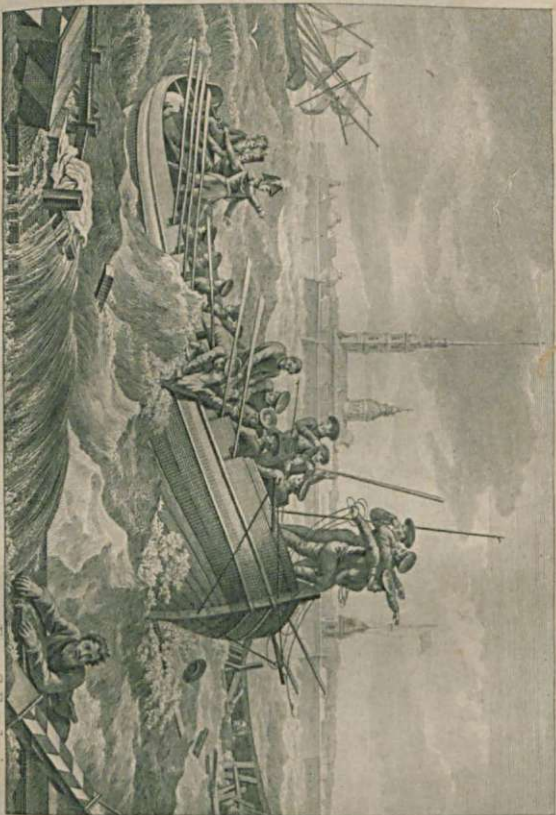
Понть, парусами покрытый, узрѣвъ, и лежація земли,
И берега, и народы кругомъ, — на вершинѣ небесной
Остановился, и очи низвелъ на Ливійское Царство.

Видя, какія заботы тѣснятъ его сердце, Венера,
Съ видомъ печальнымъ и свѣтлый свой взоръ омрачал
слезами,

Такъ говоритъ Громовержцу: о ты, чья безсмертная воля
Править дѣлами людей и боговъ, и страшить ихъ
перуномъ!

Что могъ такого, повѣдай, содѣлать Эней предъ тобою,
Чѣмъ провинились Трояне, что послѣ толикихъ зло-
счастій

Входъ во вселенную всю загражденъ имъ, Италіи ради?
Ты обѣщаль, что оттолъ, въ грядущихъ столѣтїяхъ,
возстанутъ

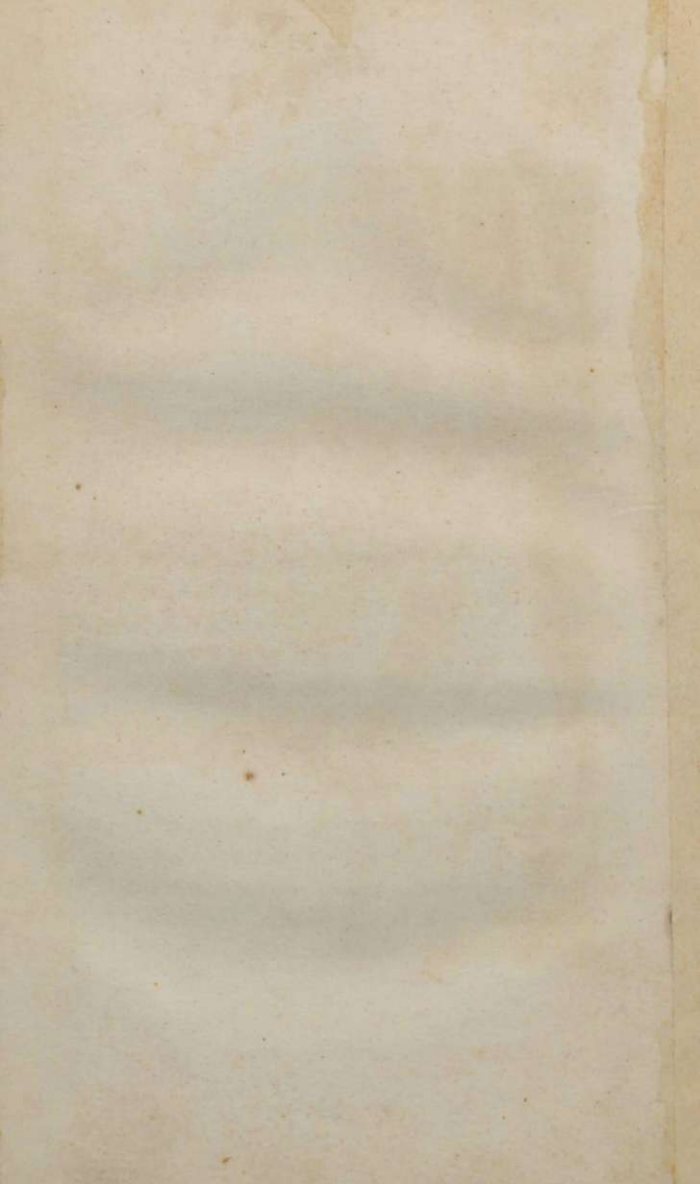


Исаакъ Виллебрухъ.

Грав. С. Галактионовъ.

НАВОДНЕНИЕ

7^{го} Ноября 1894 года.



Римскій народъ и вожди, отъ крови воскреснувшей Тевкра,
 Божъ въ державствѣ своемъ содержать будутъ сушу и
 воды

Міра всего: что же мысли твои изменило, родитель?
 Этимъ обѣтомъ, по скорбномъ паденьи разрушенной Трои,
 Я утѣшала себя, переменны судьбы ожидалъ.

Но и досель та же участь все гонить мужей, пре-
 терпѣвшихъ

Столько утратъ. Гдѣ положишь предѣлъ, Царь великій,
 страдашь?

Могъ же герой Ангеноръ, изъ средины Ахейцевъ ушедшій,
 Безъ злополучій проникнуть въ заливъ Илирійскій и
 въ сердце

Царства Либурнцевъ, и токъ перецѣлить Тимавійскій въ
 томъ мѣстѣ,

Гдѣ девять устьевъ его, низвергаясь съ горы съ
 сильнымъ ревомъ,

Къ морю бѣгутъ, и рошущій Понть вытѣсняють на нивы.

Тамъ онъ однако и Падуи стѣны воздвигъ и жилища

Тевкранъ, и имя племени далъ, и повѣсилъ оружье

Трои погибшей: теперь наслаждается миромъ спокой-
 нымъ.

Мы же, твой родъ, кому неба чертоги отверзть сонз-
 волишь,

Въ бурѣ (о ужасъ!) утративъ суда, предаемся нещадно

Гнѣву одной (*), и далече отъ странъ Италійскихъ
 блуждаемъ.

(*) Юноны.

Это ли доблести мзда? и такъ ли намъ скиптръ возвращаешь? —

Ей улыбувшись пршвтно, родитель безсмертныхъ и смертныхъ,

Твою улыбкой, отъ коей и небо и бури ясныютъ,
Дочери усть коснулся устами; потомъ такъ вѣщаетъ:
Страхъ удержи, Цитерей: всегда непреложна пребудеть
Участь твоихъ; увидишь и градъ и Лавинскія стѣны,
Обѣтованныя мной, и восхищенъ тобой будетъ къ
звѣздамъ

Великодушный Эней. Не измѣнитъ ничто моихъ мыслей.
Сынъ твой (откроюсь тебѣ, безпокойство твое о немъ
видя,

И изъ пучины вѣковъ извлеку для тебя тайны рока)
Будетъ въ Итали войны вести и варваровъ лютыхъ
Грозно поправъ, законы издастъ и стѣны воздвигнетъ.
Третіе лѣто застанетъ его властелиномъ Латиновъ
И три цѣлыхъ зимы протекутъ съ покоренья Рутуловъ.
Отрокъ Асканій за нимъ, пріавшій днесъ имя Тула,
Иномъ онъ звался, пока Иліонское Царство стояло,
Тридцать великихъ круговъ годовыхъ съ летящими днями
Властвовать будетъ, и Царство свое изъ Лавинской сто-
лицы

Прочъ отнесетъ, укрѣпивъ неприступно Долгую Альбу.
Триста лѣтъ цѣлыхъ потомъ владѣтельнымъ въ Альбѣ
увидать

Гекторовъ родъ, пока Илія, жрица отъ крови Царевой,
Марса на ложе пріавъ, разрѣшится двумя близнецами.
Туть, златошерстою кожей кормицей волчицы довольный,

Ромуль въ наслѣдіе приметъ народъ, и Марсова града
 Грозныя стѣны создасть, и ими свое дастъ Римлянамъ,
 Божихъ владычеству я ни предѣла, ни цѣли не ставлю:
 Будь безконечна ихъ власть! И Юнона суровал даже,
 Въ страхъ приводящая цыпѣ и море, и сушу, и небо,
 Бѣ лучшему сердце тогда обратитъ и будетъ со мною
 Печься о славѣ Римлянъ, властелинцовъ подъ тогой вол-
 нистой.

Такъ я хочу. И настанетъ съ годами летящими время:
 Домъ Ассарака тогда знаменитымъ Миценамъ и Фгін
 Рабскій наложитъ яремъ, и вступитъ съ побѣдою въ
 Аргосъ.

Тутъ изъ прекраснаго рода возстанетъ Цесарь Троянскій:
 Слава его — небеса, океанъ — его власти предѣлы.
 Юліемъ онъ назовется въ честь славнаго предка Тула.
 Вѣрь мнѣ: его, отягченнаго данью Востока, ты примешь
 Нѣкогда здѣсь, въ небесахъ, и взывать къ нему будутъ
 въ моленьяхъ.

Вѣкъ суровый тогда, успокоясь отъ войнъ, укротится.
 Веста, и Вѣрность сѣдая, и Ремъ съ своимъ братомъ
 Квириномъ,

Риму законы дадутъ, и врата войны лютой затворитъ
 Плотный желѣзный затворъ, за которымъ нечестовый ужасъ,
 Дикъ и суровъ, надъ оружіемъ сидитъ, и закованный
 стылу

Множествомъ мѣдныхъ цѣпей, окровавленной пастью
 скрежещетъ.

Съ Латинскаго М. ДЕЛАРЮ.

РОКОВЫЯ ВИТВЫ.

Было время: грозно, шумно,
Мчалась бури надъ Москвой,
И гремѣлъ во всей подлунной
Битвъ ея отзывный вой.

Русью правя, Ханъ кичился,
Грозный силою своею,
Русскій духомъ пробудился
И летѣлъ на пиръ мечей,
И Донской съ Ордой сразился,
И бѣжалъ Мамай злодѣй.
Пала мощь враговъ кичливыхъ,
При мольбахъ благочестивыхъ,
Рать воетелей счастливыхъ
Возвратилась съ полей.

Ляха хитраго измѣной
Помрачился небосклонъ,
И какъ древле за Еленой
Шла погибель въ Иліонъ.

Ополчился Сарматы
Русь Свѣтую сокрушить,
И обиды и утраты
Въ крови Русской потушить,

И за хлѣбъ-соль вмѣсто платы
Градъ престольный разгромить;
Но мясникъ явился кстатѣ:
Полный Божьей благодати,
На Москву подвигнуль рати,
Разомъ гидру удушить.

Незамѣтно годы мчались —
Въ битвахъ, въ славъ, въ тишищѣ;
Тучи съ запада сбвращсь
И нашли на Русь онѣ.

Отъ руки неодолимой
Ты народовъ въ прахъ легли,
Но народъ судьбой хранимой
Длани чьи сразить могли?
Встала Русь за край родимый...
Гдѣ-жь враги ея? въ пыли!
Прощѣла Россіи слава,
И великая держава
И крѣпка и величава: —
Битвы рока протекли.

Л. ЯКУБОВИЧЪ.

МОГИЛА И РОЗА.

(ИЗЪ В. ГЮГО.)

Могилла спросила у розы:

— Во что превращаешь ты слезы,
Когда ихъ берешь у зари? —

И роза могилѣ сказала:

— Гдѣ все, что донынѣ глотала

Твоя ненасытная пасть?

Тѣ слезы: зари подаешь —

Въ мое переходятъ дыханье,

А этимъ я воздухъ пою. —

Бѣдняжка! — провыла могилла;

Во мнѣ очищенія сила: —

Я Ангеловъ небу даю.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВЪ.

РИМСКІЯ ЭЛЕГІИ.

(ИЗЪ ГЕТЕ.)

I.

Многіе звуки мнѣ ненавистны, но болѣе всѣхъ
Ухо мое раздраетъ лай и мурчаніе пса.
Только одинъ, что живетъ у сосѣда, одинъ изъ всѣхъ,
Какъ ни ворчалъ бы, а я, слушалъ бы вѣчно его:
Онъ - то однажды залаялъ на встрѣчу любезной и тѣмъ
Чуть было тайны моей не нарушилъ; за то и теперь
Только услышу его, думаю тотчасъ: идетъ!
Или хотъ вспомню то время, когда приходила она...

II.

Чистый трепожникъ посыпавъ листочками розы, о
Граціи!
Вамъ посвящаетъ поэтъ нѣсколько бѣдныхъ созданий;
Полный надежды онъ озирается: счастливъ художникъ,
Если его мастерская ему пантеонъ замѣняетъ.
Мраморны лики: Зевсъ главу наклонилъ, а Юнона
надъемлетъ.

Өебъ выступаеть, курчавой главой потрясая. Сумраченъ
Образъ Минервы. Коваренъ, насмѣшивъ, но вмѣстѣ
и нѣженъ
Гермеса взгляды вороватый. Мечтательны Вахховы
взоры.
Къ нимъ-то возводитъ Киприда, даже на самомъ на
мраморѣ,
Свѣтлою влагой и сладкимъ желаньемъ исполнены очи;
Вспомнивъ объятья его, мнитса, она восклицаетъ:
Сывъ мой любезный, мы нераздѣльны съ тобою во вѣки!

А. СТРУГОВЩИКОВЪ.



From *Amoroso*.

HUGHES & HARRISON.

DAVID R. BROWN.

ЗАПИСКИ ГРОВОВЩИКА.

Vivos voco, mortuos plango.

ВВЕДЕНИЕ.

Однажды въ моей молодости на меня напалъ припадокъ сплина, который былъ въ большой модѣ въ то время. Впрочемъ я имѣлъ много причинъ быть въ дѣйствительномъ сплинѣ: я былъ влюбленъ — и, вообразите себѣ! — мнѣ измѣнили; къ тому жь: должники меня мучили, а родные медлили присылать деньги самое горькое положеніе въ свѣтѣ!

Въ этомъ печальномъ расположеніи духа я вышелъ однажды на улицу и печально вымѣривалъ тротуаръ; — накрапывалъ дождь — сырость пропикала мое платье; нервы страдали; сквозь капли дождя всѣ обстоятельства жизни представлялись мнѣ мрачнѣе

и мрачнѣе, — всѣ утѣшительныя мысли, всѣ надежды вышли у меня изъ памяти; на сердцѣ и въ головѣ остались лишь тоска, досада, душевная усталость; кто не испытывалъ этого томительнаго состоянія духа? кому не случалось испытывать это петербургское распротираться съ жизнью, которое въ нравственномъ мѣрѣ то же, что въ физическомъ простое желаніе послѣ трудового дня броситься въ постелью.... Въ молодости всѣ желанія, всѣ мысли живѣе, горячѣе и — словомъ — Богъ знаетъ чего мнѣ не приходило въ голову. Между тѣмъ усилившійся дождь, разбудивъ во мнѣ чувство самосохраненія, невольно заставилъ меня остановиться; и, отчаянный, разочарованный юноша бережливо прислонился къ стѣнѣ подъ выдавшуюся крышку. Взглянувши вверхъ — я увидѣлъ, что стою подъ выѣскою гробовника — этотъ видъ такъ близко подходилъ къ предмету моихъ размышленій, что, по какому-то невольному чувству, я отворилъ дверь и уже опаматовался тогда, когда хозяинъ спросилъ меня, «что мнѣ угодно?»

Передомною было совсѣмъ не то, чего

и ожидалъ; чистая со вкусомъ убранныя комната, картины, между ними портретъ Гёте, фортепьяно, за пальцами прекрасная собою женщина, на коврѣ здоровыя и полныя дѣти; лишь нѣсколько свертковъ позумента и куски алаго бархата напоминали ремесло хозяина. Я такъ былъ удивленъ этимъ зрѣлищемъ, что хозяинъ снова повторилъ свой вопросъ: «что мнѣ угодно.»

— Мнѣ нуженъ гробъ — отвѣчалъ я, самъ не зная что говорилъ

«Какой мѣры?» — продолжалъ хозяинъ, смотря на меня съ удивленіемъ.

— Какой мѣры? — повторилъ я — не ожидая этого вопроса — Какой мѣры? съ меня ростомъ

«Для кого?» — продолжалъ хозяинъ, всматриваясь въ меня пристально

— Для меня — отвѣчалъ я съ досадою — какое вамъ дѣло

«Мой гробовщикъ захохоталъ — «и полно-те,» сказалъ онъ, «вамъ еще далеко до тѣсной квартиры, поживите пока на другой, гдѣ просторнѣе — вѣрно у васъ что-нибудь тяжелое на душѣ — и! молодой человекъ — все пройдетъ, повѣрьте мнѣ, все

пройдетъ, рожь перемелится — мука будетъ. Ну, расскажите что у васъ за горе?

Этотъ странно-добродушный тонъ, которымъ говорилъ мой новой знакомецъ, имѣвшій все право принять меня за какого-нибудь сорванца, или сумасшедшаго — поразилъ меня. Я, краснѣя — откровенно признался ему, что не имѣю никакой нужды въ его пособіи.

Не помню уже, что я тогда прибавилъ въ мое оправданіе — кажется, однако же, что я ему очень ясно объяснилъ, какимъ образомъ существовала симпатія между гробами, выглядывавшими изъ его окошекъ и тѣмъ, что у меня въ душѣ происходило, и какимъ образомъ, самъ не зная зачѣмъ, я вошелъ въ его комнату. Присемъ я меланхолически выразилъ ему мое удивленіе, отъ чего онъ и всѣ окружающіе его были такъ веселы и спокойны, хотя и безпрестанно окружены предметами, возбуждающими самыя печальныя мысли.

«Самыя печальныя!» повторилъ мой новой знакомецъ съ улыбкою, «какъ будто гробъ самое печальное дѣло въ свѣтѣ. Повѣрьте мнѣ, эти печальныя мысли проше-

ходятъ только отъ привычки, отъ точки зрѣнія, съ которой вы смотрите на предметы. Вы вѣрно слышали старинный анекдотъ: купецъ спрашивалъ у моряка «гдѣ умеръ отецъ твой?»

— Онъ потонулъ вмѣстѣ съ кораблемъ...

«А дѣдъ твой?»

— Дѣда убило ядромъ на палубѣ. —

«А прадѣдъ?»

— Прадѣдъ взлетѣлъ на воздухъ вмѣстѣ съ пороховой камерой. —

«И ты послѣ этого не боишься всходить на корабль?»

— А твой отецъ гдѣ умеръ? — возразилъ морякъ.

«Очень спокойно на своей постелѣ,» — отвѣчалъ купецъ.

— А дѣдъ твой?

«Также.»

— А прадѣдъ? —

«Также.»

— И послѣ этого ты не боишься ложиться въ постелью? — Я могу сказать вамъ точно тоже; вашъ городъ, вашъ домъ, ваша комната, воздухъ, которымъ вы дышите, земля, по которой вы ходите, развѣ

не безпрестанно напоминають вамъ, что на этомъ паркеть, въ этомъ домѣ, въ этой комнатѣ, подобно вамъ, жили люди, которыхъ взяла могила, что они дышали тѣмъ же воздухомъ, что подъ прекрасными чертами женщины скрывается безобразный черепъ, — что земля, по которой вы ходите, есть не что иное какъ обширная могила — и между тѣмъ вы трудитесь, веселитесь, влюбляетесь. — О! повѣрьте мнѣ: всѣ наши чувствованія происходятъ отъ того понятія, которое мы составляемъ себѣ о предметахъ и — вотъ вамъ доказательство — прибавилъ онъ, указывая на дѣтей. —

И взглянулъ на малютокъ: они укладывали куклу въ маленькій гробокъ, складывали ей крестомъ ручки, и отъ души хохотали.

«Ну, улыбитесь-же, сударь» — продолжалъ мой добрый ремесленникъ — «я знаю тяжела юношеская грусть, но знаю и то, что легко разогнать ее, если только человекъ этого захочетъ «Енхень, продолжалъ онъ, — «спой-ка что-нибудь для этого господина. . . .»

Евхенъ улыбнулась, подошла къ фортопьяно и прекраснымъ чистымъ голосомъ зашла известную Шубертову арию *Das Glöcklein*.

Никогда я еще не испытывалъ такого страннаго и вмѣстѣ сладкаго ощущенія. Небо прояснилось, солнечный свѣтъ, скользя между складками занавѣсокъ, длинными струями пробирался до самой глубины комнаты и причудливо преломлялся о золотыя и бархатныя ткани, въ безпорядкѣ разбросанныя по столамъ и стульямъ; звучный и полный контральтъ пѣвицы, казалось, наполнялъ весь воздухъ, которымъ мы дышали; дѣти притихли и, поворотя къ маменькѣ свои свѣжія личики, прислушивались; отецъ съ своей спокойною улыбкою напоминалъ Альбертъ-Дюреровскія фигуры; меланхолическій звукъ, который, однообразно отдаваясь въ каждомъ тактѣ Шубертовой фантазіи, казалось переливался въ каждое чувство, касался каждого нерва, и все это, посреди какого-то недоконченнаго кладбища, — все это вмѣстѣ составляло одно изъ тѣхъ мгновений, которыя рѣдко встрѣчаются въ жизни, которыя ловить жи-

вописецъ, которыя надолго остаются въ душѣ поэта, и свѣтятся для него посреди мрака ежедневной жизни.

Мнѣ казалось, что мой новый знакомецъ и понималъ впечатлѣніе, имъ на меня произведенное, и самъ былъ къ нему неравнодушень.

Мы скоро познакомились ближе. Замѣтивъ, что онъ имѣлъ образованность совсѣмъ необыкновенную для человѣка его званія, я рѣшился спросить его, что заставляетъ его заниматься ремесломъ его недостойнымъ.

«Въ самомъ дѣлѣ;» отвѣчалъ онъ мнѣ — о, было время когда я не воображалъ быть гробовымъ мастеромъ, — но исторія моя долга, а мы ремесленники не должны заниматься разговорами въ рабочій день, время нашъ капиталъ — разомъ промотаешь его, — приходите къ намъ въ Воскресенье, — тогда я удовлетворю вашему любопытству.»

Съ тѣхъ поръ я часто посѣщалъ моего гробовщика — и его рассказы, частью смѣшныя, частью печальныя, остались въ моей памяти; мнѣ давно уже хотѣлось посмотреть на жизнь съ исключительной точки

зрѣнія двухъ классовъ людей, присутствующихъ рѣшительнымъ минутамъ нашего существованія: врача и гробовщика. Сначала я хотѣлъ было заняться первымъ, но въ свѣдствіе нашей Сѣверо-Азіатской привычки: «не дѣлай того сегодня, что можно сдѣлать завтра» — одинъ Англійскій писатель въ прошедшемъ году предупредилъ меня; а какъ никто не пойдетъ справляться съ напечатаннымъ мною въ *Литературной газетѣ*, лѣтъ шесть тому назадъ, *Журналомъ Доктора*, то боясь, чтобы забывчивые писатели не обвинили меня въ такъ называемомъ подражаніи, я оставилъ первое намѣреніе, а до времени ограничиваюсь вторымъ: собирая воспоминанія прежней жизни, я нашелъ, что подлинные рассказы моего страннаго пріятеля будутъ любопытнѣе всякой выдумки и рѣшился ими воспользоваться, не перемѣняя въ нихъ ничего, кромѣ собственныхъ именъ и мѣста дѣйствія; а потому благосклонный читатель благоволилъ не сердиться на меня за недостатокъ интереса, за недокончанность въ изображеніи нѣкоторыхъ характеровъ, за необъясненныя штрихи, — я здѣсь не

повѣствователь, даже не историкъ, а просто автошсецъ.

Моя собственная исторія коротка — говорилъ мнѣ честный ремесленникъ — я родомъ Нѣмецъ, хотя родился въ Россіи; въ молодости я учился въ Университетѣ; тогда мечта славы, искусства волновали меня, какъ волнуется всякаго молодого человѣка, какъ и васъ напримѣръ; много было грустнаго, много сладкаго въ это время! — Я вамъ скажу по секрету, что природа назначила мнѣ быть скульпторомъ — по крайней мѣрѣ такъ мнѣ казалось; по крайней мѣрѣ довольно замѣчательно, что въ классѣ Естетики меня одного изъ всѣхъ слушателей поразила мысль: отъ чего ваяніе, которое такъ тѣсно связывалось съ жизнью древнихъ, въ наше время потеряло свою силу и значеніе, — почти исчезло, по крайней мѣрѣ сдѣлалось удѣломъ немногихъ избранныхъ? почему оно далеко не достигаетъ до древняго искусства и не выходитъ изъ коленъ подражанія. Мнѣ казалось, что появленіе человѣка съ талантомъ на этомъ поприщѣ, можетъ воскресить древнее ваяніе, про-

будить снова въ томъ эту древнюю изумительную потребность въ произведеніяхъ сего искусства; — а отъ этой мысли былъ одинъ шагъ до другой: что мнѣ предоставлено быть Христофоромъ Колумбомъ въ этомъ мірѣ статуй! — Все предметы Богословскаго факультета, къ которому я принадлежалъ, были пройдены мною вскользь, но за то я прочелъ все, что было писано о ваяніи, изучилъ все вспомогательныя науки сего искусства, въ моей тѣсной комнатѣ студенскія книги и тетради были забрызганы водою и пересыпаны алебастромъ. Когда, вышедши изъ Университета, я возвратился къ моей матери, въ небольшой городокъ Остзейскихъ губерній, меня окружили и задавали домашнія нужды; я былъ единственною опорою семейства, — а моя подпора была изъ алебастра. Нечего было и думать о покупкѣ мрамора, изъ котораго мнѣ хотѣлось изсѣчь Фидіаса, трудящагося надъ недокончанною статуею — группа, которая должна была увѣковѣчить мою славу; въ лицѣ Фидіаса, я хотѣлъ изобразить вдохновеніе художника; въ его тѣлѣ — показать мое знаніе анатоміи; на недокон-

чанную Венеру я хотѣлъ набросить родъ покрывала, сквозь которое бы сквозила ея будущая красота, и самымъ грубымъ осколкамъ придать изящную форму. Мечта! мечта! Въ нашемъ городкѣ мои единственными Меценатами были: булочникъ и аптекарь, и то потому что для перваго я слѣпилъ его самого, въ колпакѣ, трудящагося надъ недокончанною квашнею, а для втораго анатомическую фигуру, называемую *escogché*. Всѣ прочіе, и мушны и женщины, находили моихъ Венеръ и Аполлоновъ слишкомъ неблагопристойными; единственный мой доходъ происходилъ отъ кошекъ съ вертящимися головами и Наполеоновъ, которые, увы! для удовольствія покупателей, я долженъ былъ раскрашивать. Такъ жить было невозможно, не только доѣхать до Петербурга, гдѣ, я надѣялся, мой талантъ не остался бы незамѣченнымъ; — я впадалъ уже въ совершенное отчаяніе, когда нашъ городской гробовщикъ расчелъ, что ему гораздо будетъ выгоднѣе заказывать мнѣ разныя рѣзныя изображенія, обыкновенно бывающія на Лютеранскихъ гробахъ, нежели выписывать ихъ изъ Риги. Что вамъ

разсказывать далье: работая у него, я познакомился съ его дочерью, — послѣ смерти отца помогаль ей въ ея торговль, потомъ женился на ней, потомъ переѣхаль сюда, — и вотъ уже десять лѣтъ какъ знаменитый ваятель сдѣлался просто зажиточнымъ гробовщикомъ. Мои модели разбились дорогою: — иногда я еще жалю о нихъ, но чаще смотрю на мою милую Енхень и благодарю Бога, что Онъ мнѣ доставилъ если не то счастье, о которомъ я мечталъ, — то по крайней мѣрѣ другое, можетъ быть, болѣе прочное. Правда, ремесло мое печально; но чего не превозможетъ привычка? — я даже нашель въ немъ своего особаго рода занимательность: — оно невольно дѣлаеть челоуѣка наблюдательнымъ, если онъ имѣеть малѣйшую къ тому способность; иногда — сказать безъ самолюбія — мнѣ удается не быть бесполезнымъ челоуѣкомъ въ этомъ мѣрѣ; иногда происшествія, которыхъ я бываль свидѣтелемъ, возбуждають во мнѣ — не смѣйтесь! — рядъ самыхъ философическихъ мечтаній, а довольно часто въ этихъ происшествіяхъ есть своя особеннаго рода забавная сторона. Вы увѣритесь въ этомъ,

когда я расскажу вамъ нѣсколько анекдотовъ, которыхъ я былъ частью невольнымъ, а частью и вольнымъ свидѣтелемъ. Съ чего бы начать? — да, слушайте!

С П Р О Т А .

«Однажды, около четырехъ часовъ послѣ обѣда, когда я было хотѣлъ вздремнуть по обыкновенію, послышался въ дверяхъ слабый, робкій стукъ; я выглянулъ въ окошко, у дверей стояла маленькая дѣвочка; сначала, признаюсь, я ее принялъ за одну изъ тѣхъ побродягъ, которыя по улицамъ просятъ милостыню, а, признаюсь вамъ, я этихъ побродягъ терпѣть не могу; похвально чувство благотворительности, но только въ домѣ трудолюбія; надобно быть гробовщикомъ, чтобы понять отвращеніе, которое наводятъ на душу эти негодяи; испытайте быть свидѣтелемъ ихъ споровъ за стоянку у воротъ скорбнаго дома, ихъ дѣлежа — и тогда увѣритесь, что неблагоразумная, слѣпая милостыня есть потворство лѣни и

безнравственности, и вы удержите руку, которая невольно опускается въ карманъ при видѣ нищаго. По крайней мѣрѣ такъ со мною случилось.»

Надобно замѣтить, что всѣ эти мысли казались моему простосердечному рассказчику очень новыми; то, что давно было признано истиною въ высшемъ свѣтѣ, до того онъ дошелъ долгимъ наблюдениемъ и размышленіемъ, какъ тѣ самоучки-механики, которые послѣ тяжелыхъ трудовъ открываютъ чудный снарядъ — но, къ несчастію, уже давно открытый. Это замѣчаніе мимоходомъ написано для тѣхъ господъ, которые увѣряютъ, что образование людей должно предоставлять такъ называемому *естественному ходу*, а отнюдь съ перваго шага не облегчать имъ достиженія высшихъ степеней науки, какъ-будто лучше тянуться по проселочнымъ, непроѣзжимъ закоулкамъ, нежели катиться по желѣзной дорогѣ силою могущественнаго пара — этой гордой насмѣлкѣ искусства надъ природою. — Однако также я боюсь попасть въ отступленіи, которыя впрочемъ очень любить мой рассказчикъ; я постараюсь впередъ избавить чита-

теля отъ моихъ и укоротить отступленія моего повѣствователя.

«Я уже готовъ былъ этой дѣвочкѣ, продолжалъ онъ, прочесть мою обыкновенную въ такихъ случаяхъ проповѣдь, о необходимости трудиться, о грѣхѣ просить милостьню и проч., но видъ ея поразилъ меня; въ этомъ младенческомъ лицѣ было столько простодушной скорби, столько перенесенныхъ бѣдствій, она была такъ худа и блѣдна, — къ тому же дождь лился на нее ручьемъ.... мои филантропическія вычисленія замолкли... я отворилъ ей двери.

«Что тебѣ надобно, дѣвочка?» спросилъ я.

«Дѣвочка долго не могла отвѣчать: она была какъ-бы безъ памяти и отъ холода и отъ испуга; я старался ее ободрить и, наконецъ, изъ ея несвязныхъ словъ, могъ понять слѣдующее: что ея маменька вчера заснула... что сегодня поутру она ее будила, будила и не могла разбудить... что она просила помощи.... что ее толкали изъ стороны въ сторону и что, наконецъ, кто-то натолкнулъ ее на мой домъ, говоря, что я одинъ могу помочь ея маменькѣ....»

«Я понялъ въ чемъ дѣло; бѣдная дѣвочка показала мнѣ очень жалка, она была красивой наружности, что-то невольное привлекательное было въ ея чертахъ: — я накинулъ на нее платокъ, взялъ ее за руку и она повела меня къ своей маменькѣ.

Идти было недалеко, ея квартира находилась противъ меня. Это было огромное пятиэтажное зданіе, съ верху до низу наполненное жильцами. Не знаю, имѣете-ли вы понятіе о домахъ такого рода. Дѣвочка провела меня по темнымъ, мокрымъ лѣстницамъ въ самый пятый этажъ; когда я отворилъ дверь въ комнату, меня обдало густымъ, удушливымъ воздухомъ. Эта комната была довольно велика и раздѣлена на двѣ половины безчисленными низенькими перегородками; въ серединѣ былъ родъ корридора; большая часть перегородокъ, для сохраненія мѣста, упирались въ половину оконной рамы, такъ что каждому жильцу приходилось по полуокошку свѣта, ибо каждая изъ этихъ отгородокъ, въ нѣсколько квадратныхъ аршинъ, была особою *квартирою*. Были отгородки и совсѣмъ безъ окошекъ. Я

узналъ *квартиру* матери моей проводницы по ужасному женскому крику подлѣ дверей отгородки; тутъ собрались сосѣди и сосѣдки, между которыми я увидѣлъ многія лица, знакомыя мнѣ по похоронамъ; всѣ онѣ жаловались на хозяйку дома, зачѣмъ она до сихъ поръ не велитъ вынести мертвѣго тѣла, что оно уже пахнетъ, что имъ не почевать же съ нимъ вмѣстѣ и проч. т. п. Мое появленіе нѣсколько успокоило крикливую толпу, только изрѣдка раздавались насмѣшки: «что это, ты, кого привела, Дунька?... вѣрно разбогатѣла? золотой гробъ, что ли, хочешь дѣлать? Вишь Григорій Мартынычъ на нее станетъ работать?... Не вѣрьте этой дурочкѣ, Григорій Мартынычъ — на нихъ едва-ли и рубашка-то есть... и проч. т. п.»

«Люди низшаго класса вездѣ удивительно какъ жестоки; страданіе ближняго рѣдко ихъ трогаетъ, и если простолюдину нѣтъ корысти въ помогѣ, онъ руки не протянетъ, и часто просто отъ лѣни, отъ безпечности, отъ проклятаго слова: *живетъ*. Недавно въ моихъ глазахъ былъ разительный примѣръ этой непостижимой безпечности: въ одной горницѣ спали у меня два

работника, еще земляки и приятели; однажды, утромъ, я вошелъ въ эту комнату — смотрю, одинъ изъ нихъ умираетъ. «Давно ли онъ занемогъ?» спросилъ я съ безпокойствомъ у другаго. — Да, съ полночи — отвѣчалъ землякъ, почесываясь, — сталъ стонать и хрипѣть. Я его кликнулъ, онъ ничего не отвѣчалъ. — «Да что-же ты тотчасъ не разбудилъ меня?» — Я прикрылъ его одѣяломъ, да и подумалъ: авось такъ пройдетъ. — «Ну, а потомъ. . .» — Да завернулъ себѣ голову въ тулупъ, чтобы не слышать его стона. — «И что же?» — Да, не знаю, какъ просналъ до утра. — Нѣсколькими часами ранѣе, его товарищъ былъ-бы спасень!»

— Это ужасно! отвѣчалъ я; — а повѣрите ли, что теперь въ модѣ у нѣкоторыхъ писателей представлять грубую чернь, какъ образецъ чистыхъ нравовъ, всѣхъ возможныхъ добродѣтелей и видѣть въ ней настоящей народный характеръ.

«Видно этимъ господамъ не доводилось и дотрогиваться до грубой природы, не смягченной просвѣщенемъ: они бы узнали, что это за щетина, и что подъ этой щетиной. . . По возвратимся къ нашей исторіи:

я подошелъ къ кровати несчастной, или, лучше сказать, протащился къ изголовью, ибо кровать занимала всю квартиру; на изломанномъ столикѣ лежали остатки женской работы и деревянный ковшъ — въ этомъ заключалась вся домашняя утварь. Взглянувъ на покойницу, я съ перваго взгляда усомнился, точно-ли она умерла; привычка видѣть мертвыхъ дала мнѣ въ этомъ отношеши нѣкоторую оытнность: я не замѣчалъ въ ея лицѣ той горькой улыбки, которою покойники прощаются съ свѣтомъ; но ноги и руки ея были холодны, пульсъ не бился, на зеркалѣ не было и признака дыханія. Я не зналъ, что и думать. Пока я былъ въ этомъ раздумьи, въ дверяхъ показалась хозяйка дома; я давно уже зналъ ее: это была толстая, румяная женщина, у которой отъ безпрестаннаго чая, казалось, и лице едѣлалось похожимъ на самоваръ; она уступала мѣсто полицейскому ошцелу, и что-то очень скоро бормотала ему; это было, вѣроятно, окончаніе ея рѣчи, потому что она имѣла странную привычку начинать говорить протяжно, потомъ немножко скорѣе, чѣмъ дальше тѣмъ громче и скорѣе,

такъ что наконецъ ея разговоръ обращался въ бормотанье, очень громкое, но въ которомъ уже ухо не могло уловить ни одного слова; къ этому надобно прибавить, что главное распоряженіе въ домъ и 100 тысячъ дохода давали ея лицу что-то повелительное, престранно соединившееся съ глупою, но коварною безчувственностію. Полицейскій офицеръ протаялся также къ изголовью, приподнял одеяло и хладнокровно произнесъ: «Ну, что же, обмыть, да вынести въ церковь.»—Занятый моею мыслию, я невольно вскричалъ: «какъ, обмыть, да вынести? да вы ее простудите?»—«Какъ простудимъ, мертвую - то?» спросилъ полицейскій офицеръ, едва узнавая меня въ темнотъ (тогда уже смерклось). — «А если она не мертвая?» возразилъ я. — «Какъ не мертвая?» вскрикнула хозяйка, вслушавшись въ мои слова, «да она уже третій день умерла, не оживеть не бось» — и забормотала, а за ней забормоталъ и содомъ женщинъ. Полицейскій офицеръ притопнулъ ногою—все утихло. «Давно-ли она умерла?» спросилъ онъ, обращаясь къ окружающимъ. — «Уже третій день,» — всѣ отвѣчали въ одинъ голосъ.

«Давно-ли заснула твоя маменька?» спросил я потихоньку у малыотки, которая во все время держалась за мои полы и не покидала меня, какъ единственнаго своего защитника.

«Вчера вечеромъ,» — отвѣчала она просто и утвердительно. — «Слышите,» обратился я къ полицейскому офицеру, «это показаніе вѣрнѣе, нежели крикъ этой сволочи.»

— «Войдите и въ мое положеніе,» — возразилъ онъ, — «куда я дѣну это тѣло? Слышите — вѣдь одногласное показаніе, что уже третій день; ежели я оставлю тѣло еще хоть на день, — кто-нибудь въ палатѣ занемогн, — я же буду въ бѣдѣ....»

«Постойте, ихъ можно вывести на чистую воду. Когда васъ извѣстили о смерти покойницы?»

— Только сегодня.

— «Скажите,» сказалъ я, возвысивъ голосъ, «Марья Ивановна (такъ называлася хозяйка), какъ же у васъ третій день въ домѣ покойникъ, а вы только сегодня дали объ этомъ знать полиціи?»

Между-тѣмъ принесли огню. Марья Ивановна меня узнала. Меня всѣ знаютъ въ око-

лодкѣ (прибавилъ гробовщикъ съ невольнымъ самодовольствіемъ) и мой голосъ имѣеть вѣсь.

— «Ахъ, батюшка, Григорій Мартыновичъ, извините, что не узнала; ужь этого я отъ васъ не ожидала, чтобы такой хорошиій человекъ сталъ ко мнѣ, бѣдной женщиѣ, придирки дѣлать....»

— Тутъ не придирки — замѣтилъ полицейскій офицеръ, а по закону такъ слѣдуетъ...

«Гдѣ мнѣ, батюшка, простой бабѣ, законы разумѣть: оно, вѣстимо, не совсѣмъ три дни... она, вотъ видите, умерла-то вчера, вотъ мы считаемъ одинъ день, да сего дня день — два, а вотъ скоро будетъ полночь, такъ и третій...»

— Теперь еще 7-мъ часовъ, Марья Ивановна, да и законъ не о трехъ дняхъ говорить, а трехъ суткахъ...

— «Да мы люди простые — гдѣ намъ это разбирать, что день, что сутки, намъ все равно. Да что это съ вами сдѣлалось, батюшка, Григорій Мартыновичъ, что перевести духу не дадите: мы съ вами сосѣди — такія нападки, я баба простая...» — и забормотала.

— «Чтобы кончить это дѣло порядкомъ,» оказалъ я полицейскому офицеру, «надобно

сдѣлать то, съ чего бы слѣдовало имъ начать, а именно послать скорѣе за частнымъ лекаремъ.»

Марья Ивановна сквозь свое бормотанье услышала мои слова.

— «Какъ за лекаремъ,» вскричала она, «да кого лечить? Да я нарочно просила Ивана Григорьевича, чтобы не приводить лекаря, только что трата да расходы, въ конецъ разорять меня, бѣдную.... Ахъ бѣдная я вдова, горемычная.»

— «Эта смерть явно скоропостижная,» — замѣтилъ я полицейскому офицеру, — «если не призовете лекаря, можете подвергнуться ответственности; и сверхъ того, увѣряю васъ, я самъ знаю медицину (я агаль, я совсѣмъ не былъ увѣренъ и ничего не понимаю въ медицинѣ) — она жива, это только обморокъ, она проснется.» — Дуня дрожала въ полахъ моего платья.

Полицейскій офицеръ понялъ справедливость моего замѣчанія и тотчасъ послалъ хожалаго за лекаремъ.

Марья Ивановна была внѣ себя; такое непокорство ея волѣ выводило ее изъ терпѣнія; ибо, правду сказать, нигдѣ вы не

найдете такихъ деспотовъ, какъ въ нашемъ классѣ.

— «Да что это Григорій Мартыновичъ, какія отъ васъ обиды, — да что она вамъ родня, что-ли?»

— «Родня,» — отвѣчалъ я хладнокровно.

— «Такъ позвольте вамъ сказать,» проговорила Марья Ивановна внѣ себя отъ злости, «ужь ежели вы ей родня, такъ слѣдовало роденьку навѣстить пораньше, когда еще она была жива, и у меня чуть не Христа ради квартиру нанимала, — а ужь теперь, какъ умерла, такъ-вишь хотите оживить. — Извините, батюшка, что можетъ быть неучтиво сказала; мы люди простые, неученые — а ужь это знаемъ, что коли разъ умеръ, такъ ужь не оживеешь, ужь какъ разъ прихлопнешь (тутъ Марья Ивановна хлопнула руками), — такъ ужь не очнешься.»

Все собраніе захохотало этой шуткѣ, и Марья Ивановна, довольная собою, пошла по корридору, бормоча изо всей силы; за ней потянулись толпы жилищъ, пораженные этою новою для нихъ борьбою и съ нетерпѣніемъ ожидая, кто пересечитъ.

Я молчалъ, устремивъ взоры на страдалицу, чтобы не пропустить ни малѣйшаго движенія, котораго я безпрестанно ожидалъ и которому не вѣрилъ. Лице несчастной, хотя искаженное болѣзнію, а можетъ быть и смертію, сохранило еще нѣкоторые признаки красоты; на немъ явственно были видны выраженія ума и доброты; тонкія, благородныя черты ея показывали, что она принадлежала не къ одной породѣ съ своими сосѣдками.

Офицеръ, по своей должности, принужденъ былъ оставить меня одного; въ его отсутствіе хожалый возвратился съ извѣстіемъ, что лекарь сегодня именинникъ, что онъ сейчасъ всталъ изъ стола, что у него гости, что онъ играетъ въ карты, и что, потому, быть до завтра не можетъ. Признаюсь, — кровь поднялась у меня въ голову, — я схватилъ попавшійся мнѣ листокъ бумаги и твердою канцелярскою рукою написалъ: «Г. частный лекарь требуется по экстренной казенной надобности; по дѣлу, нетерпящему отлагательства; всякое промедленіе съ его стороны причтется на его отвѣтственность,» не подписалъ никакого имени и отправилъ снова

хожалаго. Выдумка моя удалась; канцелярскій слогъ и канцелярская рука произвели свое дѣйствіе; лекарь, вѣрно, подумалъ, что это *цидула* какого-нибудь важнаго чиновника и черезъ нѣсколько минутъ явился. Между-тѣмъ возвратился полицейскій офицеръ и съ нимъ частный приставъ, которому первый, вѣроятно, рассказалъ всю сцену, за минуту предъ тѣмъ происходившую.

«Какая здѣсь экстренная надобность?» спросилъ лекарь, маленькой, толстенькой человѣчкѣ, съ большимъ жабо, немножко на-веселѣ, и съ очень недовольнымъ видомъ.

— Надобно освидѣтельствовать скоропостижно умершую, — отвѣчалъ частный приставъ, указывая на кровать.

«Но здѣсь этого сдѣлать нельзя,» возразилъ лекарь съ возрастающимъ гнѣвомъ: «здѣсь нѣтъ никакихъ препаратовъ, вѣдь на этомъ столѣ перочиннымъ ножемъ ей брюха не взрѣжешь, надобно отвезти ее въ Академію . . .»

Дуняша обвилась вокругъ моихъ колѣнъ, какъ каменная, перестала дрожать и, казалось, не дышала . . .

«Здѣсь дѣло важнѣе,» сказала я лекарю — «не освидѣтельствовать мертвую, но спасти мнимоумершую.»

— Гдѣ-же эта мнимоумершая? — спросилъ лекарь.

«Вотъ она,» отвѣчала я, показывая на кровать.

— Да помилуй те, какая она мнимоумершая, — вскричалъ разсерженный лекарь — «смотрите: руки окостенѣли, ноги окостенѣли, пульсъ не бьется; — теперь мода на мнимоумершихъ, все мнимоумершія — покою нѣтъ отъ мнимоумершихъ, скоро съ кладбища будутъ выкапывать мнимоумершихъ»

«Ничего нѣтъ мудренаго при такомъ усердіи со стороны исполнителей,» проговорилъ я съ досадою сквозь зубы. «Дѣло въ томъ,» продолжалъ я громко, «что я прошу васъ немедленно пустить кровь этой несчастной»

— Это совсѣмъ не нужно, ее не оживишь, — отрывисто отвѣчалъ лекарь.

«Я вижу по выраженію лица, что она еще жива.»

— А я, сударь, вижу и по выражению лица, и по выражению ногъ, и по всемъ возможнымъ выраженіямъ, что она умерла. . . . —

«Послушайте-же, сударь,» сказала я твердымъ голосомъ: «я родственникъ этой несчастной, и буду принужденъ донести на васъ, что вы въ рѣшительную минуту не употребили послѣднихъ медицинскихъ пособій, которыя предписываются вамъ законами.»

Приставъ поддержалъ меня: «да, необходимо употребить всѣ медицинскія содѣйствія. . . .»

— «Извольте, извольте, если уже вамъ этого непременно угодно,» — говорилъ лекарь съ досадою, засучивая рукава: въ головѣ у него вертѣлась недогранная партія виста; я между-тѣмъ перевязалъ руку несчастной. Лекарь дотронулся ланцетомъ — я затрепеталъ какъ въ лихорадкѣ, — горе! — кровь не пошла.

«Вотъ видите,» вскричалъ съ торжествующимъ видомъ лекарь.

— Это случается и съ здоровыми людьми, — отвѣчала я, стараясь показать величайшее

хладнокровіе. — Попробуйте надъ другою рукою. — Сердце мое билось, какъ молотокъ объ наковальню.

Лекарь, съ видомъ угнѣтенной невѣжливости, принялся за другую руку, и вдругъ... кровь фонтаномъ брызнула и прямо на прекрасный новый жилетъ лекаря, совсѣмъ не ожидавшаго такой развязки. Больная открыла глаза!

Тутъ мой лекарь сдѣлался совсѣмъ другимъ человѣкомъ — легкой хмѣль у него какъ рукой сняло: «туту, кричалъ онъ, перевязку — уксусу — соли — растворите окошко, — катаплазмъ — пошлите скорѣе въ аптеку съ этимъ рецептомъ» — словомъ, онъ употребилъ все возможное въ медицинѣ, чтобъ удержать едва возвращавшуюся жизнь. Я въ первую минуту не понималъ, отъ чего такая перемена въ моемъ эскулапѣ; но, подумавъ немного, догадался, что въ головѣ лекаря быстро сообразилась вся важность этого происшествія, и какъ исторія о мнимоумершей вмѣстѣ съ его именемъ пойдетъ по городу, какъ неусыпныя его старанія войдутъ въ представленіе, и какъ изъ этого выйдутъ на-

граждениа, повышенія, новые паціенты и проч. — Горе!

Между-тѣмъ старанія лекаря не были безуспѣшны: мало-по-малу румянецъ появился на лицѣ, больная еще не могла выговорить ни слова, но уже приподнимала голову; первое ея движеніе было схватить мою руку и прижать ее къ губамъ; я не могъ понять, что это значило и почель это дѣйствіемъ бреда. Затѣмъ первыя съ трудомъ произнесенныя ею слова были: «Дуня, ты ни вчера ни сегодня не ѣла — въ столикѣ хлѣбъ.» Дуня то цѣловала маменьку, то плакала, то смѣялась; но материнныя слова напомнили ей о голодѣ, о которомъ она въ продолженіе дня забыла: она вытаскала изъ стола краюшку черстваго хлѣба и съ большимъ аппетитомъ принялась глотать ее, а слезы, крупныя слезы градомъ падали на вкусный кусокъ.

Всѣ присутствовавшіе были въ большомъ изумленіи: «ну да,» толковали въ толпѣ, «ужь кому не умереть, тотъ не умереть; ну, вѣстимо дѣло, коли добрые люди случилась.»

Хозяйка безчувственно смотрѣла на все происходившее, какъ на дѣло, которое до нее не относилось.

«Здѣсь, въ этой духотѣ, ей нельзя остаться,» сказалъ лекарь: «ее надобно отправить хоть ко мнѣ, а потомъ въ больницу.»

— Къ вамъ далеко, а ко мнѣ черезъ улицу, — и уже готовы люди перенести ее, я еще давеча послалъ за работниками. —
«Какъ вамъ угодно....»

— «Дождя теперь нѣтъ: ее легко будетъ перенести на этой-же кровати, завернувши хорошенько одѣяломъ.» Лекарь согласился. Хозяйка очнулась: «нѣтъ, батюшки, воля ваша, а кровати не выпущу: ее берите пожалуй, она мнѣ за три мѣсяца ни гроша не заплатила, гдѣ-же мнѣ бѣдной взять? Не даромъ-же къ себѣ пускать! — кроватенка плоха, да все хоть что выручишь....»

Я кинулъ на столъ нѣсколько денегъ и хозяйка успокоилась. Больную мы бережно укрыли всѣмъ, чѣмъ попало; мои мастеровые, привыкшие къ подобной поскѣ, очень осторожно снесли страданца внизъ, черезъ улицу, наконецъ въ мои комнаты, гдѣ я

отдалъ несчастную на попеченіе моей доброй женѣ.»

Я хотѣлъ сказать нѣсколько лестныхъ словъ моему простодушному разскащику-философу, но онъ прервалъ меня.

«О! сдѣлайте милость,» сказалъ онъ, «не хвалите меня: неужь-ли вы думаете, что если бы меня руководило одно чувство благотворительности, я бы сталъ такъ откровенно рассказывать вамъ все мои поступки. Началось, признаюсь, чувствомъ сожалѣнія, но потомъ какъ я разглядѣлъ себя поближе, то увѣрился, что, къ сожалѣнію, примѣшалось упрямое желаніе переслать злую хозяйку дома и унижить ея гордость. Почему знать? если бѣ она не пришла съ своимъ неистовымъ крикомъ, я бы почелъ мое замѣчаніе мечтою и спокойно бы возвратился домой; далѣе къ жалости присоединился гнѣвъ на лекаря и желаніе настоять на своемъ во что бы то ни стало; далѣе любопытство узнать оправдаются-ли мои наблюденія, а наконецъ мысль, что дѣло, начатое съ такою настойчивостію, надобно и кончить порядочно. О, увѣряю васъ, разберите безпристрастно всякое, такъ

называемое, доброе дѣло, и въ глубинѣ души вы отыщете тысячи подобныхъ пружинокъ, которыя, незамѣтно для васъ самихъ, вами руководили. Не вѣрьте злу, но не вѣрьте и добру въ человѣкѣ.»

Чтобы прервать это отступленіе, я спросилъ разскащика: выздоровѣла-ли его страдальца?

«Да, вотъ и забылъ,» — сказалъ онъ, какъ бы не отвѣчая на мой вопросъ, — «еще дѣйствовала одна пружинка: узнать, кто такая была моя гостья? — Вы спрашиваете выздоровѣла ли она, а вотъ послушайте:

«Свѣжій воздухъ, свѣжая постель, нѣкоторое движеніе, все это усыпило нашу больную, но это былъ сонъ сладкой, живительной; лекаръ, который не оставалъ ее ни на минуту, велѣлъ ей не мѣшать, но совѣтывалъ внимательно смотрѣть, чтобы не спала перевязка; одну изъ моихъ дочерей мы посадили у больной сидѣлкою, а сами расположились ужинать въ ближней комнатѣ. Дуляшу мы посадили съ собою за столъ: она во весь столъ насъ смѣшила; она ѣла первое блюдо съ удивительнымъ апетитомъ, но когда принесли второе, она удивилась

и по-видимому жалѣла, что не можетъ больше кушать. Про говядину она говорила, что и у нихъ каждый мѣсяцъ она разъ бываетъ. Увидѣвши калачь, на столѣ, она спрашивала: развѣ сегодня большой праздникъ? Жареная курица возбудила ея живѣйшее удивленіе; она спрашивала, что это такое, и приняла ее за обжаренный кусокъ бѣлаго хлѣба. Я рассказываю вамъ эти мелочныя подробности, чтобы дать вамъ понятіе, какова была бѣдность въ этой несчастной семьѣ.

Черезъ нѣсколько часовъ лекаръ замѣнилъ собою нашу сидѣлку; я имъ не могъ довольно нахвалиться: онъ два раза въ продолженіе ночи пріѣзжалъ навѣстить больную, всякой разъ долго наблюдалъ ея сонъ и самъ давалъ ей то бульѣнъ, то лекарство.

На другой день, наша больная ожила совершенно, румянецъ показался на ея щекахъ, пульсъ бился полно, но говорила она съ большимъ трудомъ; ей хотѣлось говорить: — она съ большимъ усиліемъ выговаривала нѣсколько отрывистыхъ словъ, и какъ такое усиліе могло ей быть вредно,

лекарь совѣтовалъ ей не принуждать себя до тѣхъ поръ, пока дѣйствіе самой природы не возвратитъ ей употребленія языка. Она слушалась и только крестилась и жала руку то у меня, то у жены, то у лекаря.

— Однажды мнѣ сказали, что моя больная желаетъ говорить со мною. Я поспѣшилъ къ ней. Она уже сидѣла въ креслахъ, хотѣла приподняться, но не могла. «Подойдите ко мнѣ, великодушный человѣкъ,» сказала она, — «я теперь уже могу говорить безъ труда, а мнѣ надобно облегчить мое сердце. Я знаю все, мой благодѣтель, знаю все, что вы для меня сдѣлали, я слышала всѣ ваши слова, всѣ ваши споры съ моими злодѣями.»

— Какъ слышала? — спросилъ я.

«Да! я была въ обморокъ для всѣхъ, но не для себя самой. За нѣсколько дней до моей мнимой смерти, у меня такъ болѣла голова, что работа выпадала изъ рукъ. Между-тѣмъ хозяйка стала настоятельно требовать, чтобы я ей заплатила за квартиру, грозя вытолкать меня на улицу; денегъ у меня не было; я, немножко оправившись, старалась двойною работою вознаграждать потерянное время; послѣднія двѣ ночи я

почти не спала, однако же днем я отнесла заказанную мнѣ работу, получила немного денегъ и, возвратившись вечеромъ въ совершенномъ изнеможеніи, сунула деньги подъ подушку, въ надеждѣ завтра отдать ихъ хозяйкѣ, — бросилась въ постелью и какъ заснула, не помню, но въ пять часовъ я проснулась: — ужасное пробужденіе! — хочу раскрыть глаза и не могу — на вѣкахъ точно свинцовыя гири; мнѣ приходитъ въ умъ, что я ослѣпла; въ испугъ хочу кликнуть Дуню; но языкъ не шевелится; хочу приподнять руку, повернуться на другую сторону — тщетно! всѣ члены мои прильнули къ постели, какъ-будто привязанные веревками; я думаю, что это еще сновидѣніе, стараюсь проснуться — напрасныя усилія! Наконецъ слышу, что Дуня встала, помолилась Богу и будить меня; чрезъ нѣсколько минутъ еще будить; наконецъ начинаетъ плакать; на ее плачь приходятъ сосѣдки, называютъ меня по имени, поднимаютъ съ постели, я падаю снова на спину и слышу какъ многія закричали: «да чего ее будить, она умерла.» Выразить вамъ, что я почувствовала въ эту минуту — свыше силъ моихъ:

мнѣ казалось, что холодный потъ обливалъ меня съ ногъ до головы, что вся я дрожала, какъ въ лихорадкѣ; гдѣ-то, въ глубинѣ моей внутренности, бился сильный пульсъ, отъ котораго грудь моя должна бы разорваться, — а между-тѣмъ я была недвижима, какъ статуя; все меня ожидавшее въ одно мгновеніе представилось моимъ мыслямъ; я знала, что за люди меня окружаютъ; знала, что ни въ одномъ сердцѣ моя участь не найдетъ состраданія; знала, что всего прежде постараются, какъ можно скорѣе, спихнуть меня въ могилу. . . . — Быть за-живо умершею! быть похороненною въ полной памяти! Отъ этой мысли и теперь холодъ пробѣгаетъ по тѣлу; но въ эту минуту! — Потомъ приходила мнѣ въ голову Дуня: — что будетъ съ нею? куда дѣнуть ее? Я знала, какаѣ участь могла постигнуть ее въ этомъ адскомъ домѣ, и эта мысль была ужаснѣе самой моей мучительной смерти. — И то молилась, то проклинала день моего рожденія, то опять молилась, все тщетно! наружу ничто не выходило; вокругъ меня слышались слова: «вотъ ужъ она и совсѣмъ похолодѣла. . . . — вишь какаѣ бѣлая стала,

видно благородная. . . . — видишь какъ вытянулась » — и проч. тому подобное. — Кажется жилы должны были лопнуть отъ моихъ усилийъ подать признакъ жизни, — ничего не бывало: я только уменьшала мои силы, — да! я чувствовала, что я уставала, какъ будто послѣ тяжелой работы, — на меня нашло забытье, даже я видѣла во снѣ батюшкинъ деревенскій домъ, балконъ, выходящій въ липовую рощу, солнце свѣтилось. . . . какъ-будто день моихъ именинъ, я была одѣта очень нарядно, окружена подарками, съѣзжались гости, музыканты строивались, батюшка, улыбаясь, у меня спрашивалъ чего бы мнѣ еще хотѣлось? и я не знала, что отвѣчать ему. . . . Но это забытье было минутное: меня *разбудили* — не удивляйтесь этому слову, для изображенія моей мертвой жизни я по неволѣ должна брать слова изъ живой — меня разбудили сосѣдки, которыя, подъ предлогомъ, чтобы меня по приличію уложить, шарили вездѣ и крали все, что имъ попадалось подъ руку; иные хотѣли меня обмыть, но другіи говорили, что до полиціи нельзя до меня дотрогиваться. Я замѣтила, что Дуни уже въ

комнатѣ не было; вѣроятно ее вытолкнули для того чтобы имъ удобнѣе было стянуть, что можно. Я не жалѣла о кражѣ; — но что эти христіанки сдѣлали съ Дуней? куда онѣ могли ее послать? Я слышала, какъ дождь стучалъ въ окна; — неужь-ли онѣ не дадутъ ей и ночи переночевать у моей кровати, или уже онѣ сбыли ее съ рукъ какой-нибудь гарши? Я почувствовала, что съ этими мыслями поднимаюсь съ постели — злой обманъ насмѣшливой природы! Меня подымала рука, которая вытащила изъ-подъ подушки мой носовой платокъ и съ шемъ два цѣлковыхъ — мое единственное сокровище, полученное вчера за убійственную работу. Меня обуяло горе, такое горе, которое переходитъ за природу человѣческую, престрашныя мысли крутили мое воображеніе: я уже приготовлялась явиться на послѣсмертный судъ, не съ смиреніемъ и раскаяніемъ, но съ грознымъ упрекомъ, — благодарю моего Бога, молитва теплая, сердечная скоро разогнала эти демонскіе призраки, — съ молитвой сладкая надежда влилась въ мое сердце, я спокойно стала ожидать своей участи. Въ самую эту минуту,

какъ-бы въ награду моей покорности, посреди шума и крика моихъ сосѣдокъ, мнѣ послышался голосъ Дуни, за Дуней вошли вы, мой благодѣтель, я не пророшила ни одного вашего слова, я слышала все, я даже видѣла васъ мелькомъ сквозь мои тяжелыя рѣсницы, когда вы со свѣчою разсматривали мое лице; ахъ, какъ старалась я увѣрить васъ, что вы не ошибаетесь, какъ я молплась, чтобы Богъ подкрѣпилъ ваше усердіе и твердость, — остальное вы знаете сами, мой спаситель...

«Ну и прочее тому подобное,» продолжалъ мой неутомимый разскащикъ, «чего женщина не наговоритъ въ такомъ случаѣ...»

— Тутъ бы разговорила и не женщина, почтенный человекъ, сказалъ я: я увѣренъ, что есть люди, которые равны вамъ добротою, но мало найдется такихъ, которые бы сохранили подобную силу характера и не побоялись этой тысячи маленькихъ крючковъ, ожидающихъ столь часто того, кто принимается за доброе дѣло въ этомъ странномъ мѣрѣ... —

«Полноте, полноте,» прервалъ меня мой разскащикъ, «я вамъ не сказалъ еще, кто

такая была моя гостя. Въ нашъ первый разговоръ я ничего не спросилъ у нее, а только уговаривалъ ее быть спокойною и стараться укрѣпить свои силы. Но чрезъ нѣсколько дней она вышла изъ своей комнаты, вошла въ нашу рабочую и сказала намъ: «я уже мѣсяць живу у васъ въ домѣ и не одна, вы сами не слишкомъ богаты; наше содержаніе, мое леченіе стоили вамъ денегъ; заплатите вамъ мнѣ нечѣмъ, дѣваться некуда — видитъ Богъ; у меня не достанетъ силъ возвратиться въ домъ, гдѣ было меня за живо похоронили, или въ другой, ему подобный: позвольте мнѣ работать вмѣстѣ съ вашими швеями и хоть этииъ частію уплатить долгъ мой....»

— Я готовъ дать вамъ выгодную работу, сударыня — отвѣчалъ я — и оставить васъ навсегда въ моемъ домѣ, но простите любопытству честнаго ремесленника, — смотря на ваше лице и слушая ваши рѣчи, я не могу подумать, чтобъ что-либо нечистое было въ вашей жизни; но послушайте, я изъ вашихъ бумагъ, доставленныхъ мнѣ полиціей, узналъ только то, что вы чиновница 6-го класса Безрукина — не

болѣе, и, признаюсь, я никакъ не могу согласить этого званія съ тѣмъ положеніемъ, въ которомъ я засталъ васъ.

Бѣдная женщина заплакала.

«О! этотъ 6-й классъ,» сказала она, «будетъ вѣчнымъ мнѣ горемъ и вѣчнымъ во всемъ препятствіемъ. Я не удивляюсь и не оскорбляюсь вашими вопросами, мое положеніе ко всему меня приучило и я бы должна была предупредить васъ. Пѣтъ! благородный человѣкъ, я не оскверню собою твоего дома; моя жизнь была чиста, какъ жизнь младенца: ее запятнано одно несчастіе. Я родилась не въ бѣдности и порокъ — я родилась Книжной Воротыцскою...»

— Какъ, — вскричалъ я, — вы принадлежите къ этой знатной и богатой фамиліи? —

«Принадлежала, — а отъ моей фамиліи не осталось теперь ни имени, ни богатства. Я не буду вамъ рассказывать о дняхъ моей юности: это была непрерывная цѣль забавъ, наслажденій роскоши; матери моей я не помню, но батюшка баловалъ меня до крайности; я была единственное его дитя и моя мальчишья прихоть была для него за-

кономъ. Я къ этой жизни успѣла привыкнуть, ибо мое счастье продолжалось до восемнадцати-лѣтняго возраста. Съ нѣкотораго времени я замѣчала, что батюшка становится печалень и задумчивъ; какъ ребенокъ, я приписывала это тому, что онъ рассорился съ Сенюшей, своимъ столовымъ дворецкимъ, безъ котораго батюшка прежде не могъ ни дня обойтись. Но однажды утромъ онъ позвалъ меня къ себѣ: «Софья,» сказалъ онъ, «собери свои силы и молись Богу. Наше состояніе перемѣнилось: мы были богаты, теперь мы бѣдны.» — Я сначала не поняла даже значенія этого слова, но поняла уже послѣ, когда батюшка, въ наемной каретѣ, перевезъ меня въ низенькой деревянный домикъ на Петербургской сторонѣ, въ которомъ были всего двѣ комнаты и третья кухня; когда, вмѣсто многочисленной прислуги, я увидѣла одну кухарку; когда уже помину не стало ни о балахъ, ни о спектакляхъ; когда намъ начали подавать на столъ три дня сряду одно и то же блюдо; когда я принуждена была сама шить себѣ платье и штопать чулки: — тогда я поняла, что такое бѣдность, но только въ

половину! Батюшка не перенесъ этой перемѣны, — ударъ паралича — и его не стало, — всѣ пособія доктора были тщетны! Что со мною было въ это время, я не помню; очнувшись, я увидѣла себя въ домѣ одной дальней нашей теткѣ. Я лежала въ горячкѣ. Описывать вамъ моего выздоровленія, а съ нимъ и возобновившагося горя, не стану: все минувшее было мнѣ сномъ, и мнѣ казалось, что я будто-бы родилась снова; въ самомъ дѣлѣ для меня начиналась новая жизнь. Надобно вамъ сказать, что объ этой теткѣ я знала только по шуткамъ батюшки, который часто смѣивался надъ ея старинною, нечистою жизнью. За такія шутки старуха сердилась, но, сохраняя старые обычаи, пріѣзжала къ намъ въ домъ, какъ къ старшему въ родѣ, аккуратно, въ дни именинъ, рожденья и въ двенадцатые праздники; обыкновенно послѣ ея пріѣзда долго сохранялись въ нашемъ кругу рассказы о ея старомодномъ рыцарствѣ, оборванномъ лакеѣ, о ея пѣгихъ лошадяхъ въ веревочной сбруѣ, и о лопастяхъ ея чепчика изъ стариннаго, мытаго кофіемъ, кружева, которыя хлобытались по ея щекамъ,

какъ корабельные паруса, повѣшенныя для сушки. Батюшка отдавалъ ей визиты, подъѣзжая только къ воротамъ ея дома, и насмѣшливо приказывая ей съ человѣкомъ, что «вышелъ бы де матушка, да боюсь у васъ задохнуться.» — Но теперь было совсемъ другое: закинутой теткѣ я должна была быть благодарной; смѣшная старуха была моею благодѣтельницей; она одна изъ родныхъ догадалась, что мнѣ, дѣвушкѣ, неприлично оставаться одной въ домѣ: она перевезла меня въ полномъ безпамятствѣ къ себѣ, устроила погребеніе батюшки, сохранила остатокъ моего имѣнія, лечила меня, — словомъ она исполнила все, о чемъ люди говорятъ: вотъ доброе дѣло.

И такъ, я была въ этомъ странномъ домѣ, о которомъ имѣла понятіе только по разсказамъ; въ домѣ, гдѣ по старинному обыкновенію не было ни одной форточки; гдѣ люди ходили въ лохмотьяхъ, и вѣчно заспанные; гдѣ потолокъ въ гостиной былъ по срединѣ, для безопасности, подпертъ деревянною стойкою; гдѣ для экономіи никогда не снимались чохлы съ мебели, хотя подъ ними были слои пыли; гдѣ всѣ домаш-

ше вставали непременно въ шесть часовъ утра, но въ продолженіе дня ничего не дѣлали; гдѣ хозяйка кричала на людей съ утра до вечера, и, не смотря на то, ничто не ладилось; гдѣ, словомъ, уживались вмѣстѣ скупость съ небрежливостію и величайшій безпорядокъ съ строгою аккуратностію. Ко всему этому мнѣ, и послѣ нашей бѣдной жизни, трудно было привыкнуть; однако же еще можно было перенести; но въ этомъ домѣ меня ожидало другаго рода бѣдствіе: тетюшка принадлежала къ числу тѣхъ людей, которыхъ добро тяжело, какъ свинець, которыхъ ласки царапаютъ, которыя за свои благодѣянія выплачиваютъ себѣ правомъ унижать васъ, какъ только можно унижить человѣка, что говорятъ, *осыпаннаго* милостями. О! какъ жестоки такіе добрые люди! Едва стала я поправляться, какъ тетюшка поспѣшила мнѣ рассказать, что всего доходу у меня четыре тысячи рублей, что мое содержаніе ей гораздо больше будетъ стоить, что похороны батюшки ей дорого стоили, и что она за нихъ не вычитаетъ, что обо мнѣ никто не подумалъ кромѣ ее, что, однимъ словомъ,

я ей обязана вѣчною благодарностію. Къ этому прибавляла, что другое дѣло жить въ своемъ домѣ и другое въ чужомъ, что я должна быть во всемъ умѣренна и во всемъ себѣ отказывать. Обѣдъ быть для меня совершенное терзанье: каждое блюдо, которое мнѣ подавали, тетушка встрѣчала и провожала глазами; это было мнѣ нестерпимо; — я отказывала, тогда у тетунки были готовыя фразы: она спрашивала, отъ чего я не ѣмъ, что, видно, я привыкла къ другому столу, что теперь, какъ быть, надобно ѣсть, что даютъ, что можетъ быть у Сенюши и лучше столъ, но что у нее, прошу не прогнѣваться, простой, дворянской. — Вы можете себѣ представить, какое дѣйствіе производили эти почти ежедневныя фразы на молодую дѣвушку, которая жила въ домѣ почти изъ милости. Последняя ея фраза была для меня непонятна, но мнѣ ее впоследствии объяснили. Этотъ Сенюша, нашъ столовой дворецкой, былъ самое коварное существо въ мірѣ: онъ издавна умѣлъ себѣ у батюшки выхлопотать отпускную, а потомъ батюшка записалъ его въ какую-то канцелярію;

но, чтобы не сердить стараго барина, все оставался у насъ въ домѣ, подъ названіемъ столоваго дворецкаго, повѣреннаго, управителя; батюшка же все звалъ его по старинной, барской привычкѣ Сениошею. Во время обѣда онъ, правда, не перемѣнялъ тарелокъ, но стоялъ безотлучно у стола, съ котораго подавалось кушанье. Впрочемъ, онъ никогда не садился предъ батюшкой. . . . Батюшкѣ это не могло бы притти и въ голову, но Сениошѣ того и надобно было; завладѣвъ довѣренностію своего барина, подъ личиною холопской безотвѣтности, онъ умѣлъ такъ искусно запутать его въ откупы и въ другіе невыгодные обороты, что, наконецъ, все наше имѣніе вовсе неожиданно было продано съ аукціоннаго торга, а купилъ наше имѣніе—Сениоша! Въ тотъ же день онъ прислалъ батюшкѣ въ пакетъ тысячу рублей, прося принять ихъ въ знакъ благодарности за его милости, и что онъ къ сожалѣнію не можетъ болѣе оказывать ему свои услуги, потому что собственныя дѣла требуютъ всего его вниманія. Батюшка бросилъ и деньги и письмо въ лице посланному съ наказомъ,

что «если онъ бездѣльника Сеньку гдѣ встрѣтитъ, то познакомитъ его съ своею тростью.» Тщетная угроза! Сенька теперь большой баринъ, человѣкъ важный, у него великолѣпный домъ, богатая прислуга, къ нему съѣзжается пропасть народа; ибо у насъ почти ко всякому ѣздить, у кого двери открыты.... — а я, дочь моего батюшки....» Тутъ нѣсколько слезъ невольно скатились съ рѣсницъ расканицы, потому она продолжала: «Я эту исторію хорошо знаю, потому что тетюшка нѣсколько разъ рассказывала ее пріѣзжавшимъ къ ней знакомымъ и, разумѣется, при мнѣ.

«Вотъ, матушка,» говаривала она, помахивая чепчикомъ, какой-либо пріѣзжей старухѣ, слушавшей ее съ подобострастіемъ: «вотъ, матушка, честь имѣю рекомендовать — Княжеская дочка, моя племянница. Богатая бы невѣста была — у батюшки до семи тысячъ душъ было, да слишкомъ умень былъ, умъ за разумъ зашелъ — перестань, Софья мины-та строить, это для твоей же пользы говорятъ — да, матушка, нечего сказать, баринъ былъ, и знаете, все на *аглицкой* манеръ, все роскоши, да чи-

стоты и въ гостиной восковая свѣча, и въ передней восковая, на людяхъ, чего не выдумаетъ — перчатки, да каждый день бѣлье, фракъ не фракъ, жилеть не жилеть — срамъ бывало смотрѣть, словно господа; а въ комнатахъ у него и книги, и картины, и клавикорды; да еще въ добродѣтели пу-скался, завелъ какой-то *французской* домъ, да славную Тамбовскую деревню къ нему и приписалъ; — а что, Софья, — не худо было бы кабы батюшка для тебя ее сохранилъ, годилась-бы на голые зубы, — ну полно же хныкать, хныканьемъ не воротись, — вотъ матушка, какъ порядочно спустилъ, спохватился, да поздно, — ну въ подряды, да въ откупы входить, еще никакъ въ купцы записался, — повертѣлся годковъ шесть, — у него все именщице съ молотка и продали, а купилъ-та его-же холопъ — Сешонка; старикъ съ горя въ могилу пошелъ, а дочку-та горемышную оставилъ, вотъ-что говорится ни передъ ней ни за ней; еще спасибо, что какую-то матушкину деревнишку туда же не упряталъ. Кабы не я, матушка, правду сказать, погибла бы дѣвка ни за что ни про что;

повѣрите матушка — похоронить было не на что, даромъ что знатная и богатая родня — всѣ отступились, — ужь я Софьюшку и къ себѣ-та перевезла, и по роднямъ билеты разсылала, и отца-та похоронила, и панихиды по немъ пѣла, архіерея звала, матушка — право! — Благодарности большой не жду — да по крайней мѣрѣ Христіанскій долгъ исполнила»

Вслѣдъ затѣмъ, тетушка давала мнѣ цѣловать свою немытую руку; собесѣдница ея плакала, расхваливая эту безпримѣрную добродѣтель, а я плакала отъ грусти и униженія. Такія сцены бывали почти ежедневно.

Пока дѣлалось лѣто, жизнь моя была еще сносна; я иногда могла уходить въ свою комнату, не слышать тетушкина крика, который обыкновенно не умолкалъ въ продолженіе дня и наконецъ — величайшее мое наслажденіе! — могла отворять оконшко и дышать чистымъ воздухомъ; но съ зимою наступилъ для меня новый родъ мученій. Скупость и безнечность тетушки была такъ велика, что въ продолженіе, я думаю, сорока лѣтъ, она не поддерживала своего

деревяннаго дома; потолоки перекосились, въ полахъ сдѣлались щели, въ печахъ трещины — полиція запретила ихъ топить, а тетушка каждой годъ до весны откладывала ихъ передѣлку; по сей причинѣ мы должны были на зиму переселиться въ двѣ маленькія, единственныя теплыя въ домѣ комнатки, дверь объ дверь; тутъ уже мнѣ не было защиты отъ тетушки; каждый день мы по-прежнему вставали въ шесть часовъ и отправлялись къ заутренѣ — это было мой единственный отдыхъ, — я слезно молила Бога объ одномъ: чтобы провести новый день не въ такомъ терзаніи, какъ вчерашній. Но, видно, время моего испытанія не миновалось. Съ возвращеніемъ въ домъ, тетушка принималась меня мучить — это ей обратилось въ постоянное занятіе, въ привычку; она прицѣплялась къ моему каждому слову, къ каждому моему движению; все ей во мнѣ не нравилось: и моя работа, и моя походка, и мой туалетъ; отъ самаго пустаго обстоятельства она умѣла съ особеннымъ искусствомъ переходить до разказовъ о покойномъ батюшкѣ и, разумѣется, о своихъ милостяхъ — и

тогда рѣчи ея длились по цѣлымъ часамъ; — казалось, она къ этому времени собрала всю желчь, которая въ продолженіе жизни накопилась въ ней отъ шутокъ моего отца, и она съ наслажденіемъ вымѣщала на мнѣ его невинныя эпиграммы. Кто-бы могъ подумать, что подъ этою простою наружностію скрывалось столько грубой злости и такое глубокое лицемеріе! Мнѣ не нужно вамъ сказывать, что въ домѣ не было ни книги, ни какого-либо инструмента, ни даже газетъ; я жила въ настоящей тюрьмѣ, — съ тою разницею, что заточенный иногда можетъ быть одинъ, а я не имѣла и этого утѣшенія! Единственною моею разсѣяностію были пальцы, на которыя часто падали мои горячія слезы, и кривая, пестрая, безхвостая кошка; я привязалась душою къ этому уродцу — не смѣйтесь надо мною — это было единственное существо, которое меня не мучило и даже меня любило; гладить ее, держать на колѣняхъ, потихоньку кормить — было для меня истинною отрадою; часто, въ горькіе часы, когда голова моя трещала отъ грубой брани, а сердце разрывалось отъ мучительныхъ словъ,

которыя тетушка умѣла употреблять съ
 такимъ искусствомъ, бѣдная кошка вска-
 кивала ко мнѣ на стуль, терлась о мое
 плечо своею атласистою головкою, тихонь-
 ко мурлыкала, — и ея голосъ мнѣ былъ
 сладокъ, какъ людямъ, болѣе меня счастли-
 вымъ, утѣшительныя слова друга. Но не-
 долго я наслаждалась этимъ счастьемъ; те-
 тушка досадовала, зачѣмъ кошка больше
 ласкается ко мнѣ, нежели къ ней; она прирев-
 новала кошку ко мнѣ — и однажды, когда
 бѣдная Машка, съ криваго глаза, прыгнула
 не въ попадь и разбила гривенную фаянсо-
 вую чашку, тетушка велѣла кошку со-
 гнать со двора — люди кажется убили, или
 закинули ее. Я плакала объ ней, какъ о
 самомъ близкомъ человѣкѣ; для тетушки
 это было новымъ предлогомъ меня мучить.
 Одно происшествіе произвело нѣкоторую
 переменъ въ нашей однообразной жизни;
 къ половинѣ зимы, къ тетушкѣ привезли
 домашнюю провизію: мороженыхъ гусей,
 утокъ, поросятъ и проч. Тетушка, почи-
 тавшая себя отличною хозяйкою, получала
 всю эту провизію изъ дальней деревни и
 продавала въ Петербургѣ для выгоды. Гуси,

и утки хотя на время отвлекали ея вниманіе отъ ея несчастной племянницы, и я почитала это великимъ счастіемъ, хотя съ утра до вечера слушала какъ тетушка бранилась съ людьми, которыхъ она разсыпала по купцамъ съ предложеніями; она обвиняла своихъ комиссіонеровъ въ томъ, что ея провизія не продается дороже того, за что ее можно было купить на рынкѣ, и рассчитывала очень справедливо, что по такой цѣнѣ ей не стоило-бы и привозить ее изъ-далека; за этими хлопотами она не имѣла времени изготovitъ отписки въ деревню, держала нѣсколько недѣль приѣхавшихъ крестьянъ, и каждый день грустила, что они ей стоятъ дорого. Въ свободное отъ хлопотъ время она принималась за меня, отъ индѣекъ переходила къ всегдашнимъ разговорамъ о батюшкѣ и о своихъ милостяхъ, жаловалась и на дороговизну, и на дешевизну, и на развращеніе нравовъ, и, однажды, въ жару, чуть не обвинила и меня въ томъ, что не продаются ея гуси; не зная, что отвѣчать на такія странныя рѣчи, я рѣшилась отмалчиваться — тѣмъ хуже! она выдумала, что я безчув-

ственшая, неблагодарная, не принимаю въ ней участія и только стараюсь щечиться вокругъ нея. Наконецъ одинъ случай довелъ меня почти до того, что я едва не выбѣжала изъ дому. Скупая тетушка до того торговалась, все выжидала получить нѣсколько лишнихъ гривенъ за свою провизію, что наступила оттепель, гуси испортились и ихъ надобно было выкинуть. Можете себѣ представить, въ какое положеніе пришла тетушка; я не знала куда дѣваться; все, что она прежде говорила, все, что дѣлала со мною — удесятерилось; она изобрѣла новыя фразы, новыя слова, новыя мнѣ имена, новыя жалобы на меня передъ чужими, такъ что доводила меня до истерики; но ничто ее не трогало, ни моя безотвѣтность, ни мои услуги, ни моя покорность, ни мои слезы; напротивъ, казалось, слезы мои еще болѣе ожесточали ее, приводили ее въ какое-то злое опьяненіе; но мнѣ не пересказать вамъ всей тогдашней моей жизни, составленной изъ мелочей, но мелочей мучительныхъ въ высшей степени. Приступаю къ другому періоду моей жизни, и, лучше сказать, моего несчастія. Къ тетушкѣ хо-

диль иногда въ домъ чиновникъ изъ Канцелярш; онъ ей былъ нуженъ, она съ нимъ совѣтъвалась о своихъ тяжбахъ. Приходъ Кондратія Ѳедоровича былъ всегда для меня отдыхомъ, и потому немудрено, что я всегда встрѣчала его съ радостію. Скоро я замѣтила, что онъ ко мнѣ равнодушенъ. Что сказать вамъ? онъ мнѣ не нравился, но я не знаю, куда бы я не бросилась, чтобъ избавиться отъ моей благодѣтельщицы. Кондратій Ѳедоровичъ предложилъ мнѣ свою руку, и я въ ту же минуту согласилась. — Когда мы сказали о нашемъ намѣреніи тетушкѣ, она пришла виѣ себя отъ злости — и немудрено! она лишилась во мнѣ своего любимаго занятія: она отказала на-отрѣзъ, и когда Кондратій Ѳедоровичъ, какъ человекъ дѣловой, доказалъ ей, что она не имѣетъ надо мною никакого права, тетушка почти выгнала насъ изъ дому; — съ тѣхъ поръ я ее не видала; она никогда не хотѣла принять насъ, я думаю для того, чтобъ имѣть предлогъ рассказывать своимъ пріятельницамъ о моей неблагодарности и слышать похвалы своей добродѣтели.

Кондратій Федоровичъ Безрукинъ былъ человѣкъ очень хорошій; онъ былъ учтивъ, скромень, одѣвался очень чисто; его мысли не выходили изъ предѣловъ его канцелярїи; до книгъ онъ былъ неохотникъ, до музыки также; онъ любилъ говорить только о повышенїяхъ и наградахъ, все прочее почиталъ вздоромъ, не заслуживающимъ вниманїя благоразумнаго человѣка. Во мнѣ не могло быть любви къ нему, по самой простой причинѣ, потому что мнѣ съ нимъ бывало очень скучно, но я надѣялась провести съ нимъ покойно жизнь мою, по крайней мѣрѣ такъ мнѣ казалось послѣ тетушкина ада. — Онъ получалъ 2000 рублей жалованья, съ моими четырьмя тысячами это составляло шесть, и мы могли бы жить не богато, но и безбѣдно. Но, къ несчастїю, мой мужъ былъ честолюбивъ — это было его несчастїе! День и ночь онъ рассчитывалъ время, ваканціи, и обстоятельства, которыя могли ему доставить чинъ или мѣсто. Чтобы познакомиться съ людьми, какъ онъ говорилъ, Кондратій Федоровичъ принялся за вистъ, сперва по маленькой, а потомъ мало-по-малу и по большой. Когда

онъ возвращался домой безъ денегъ, онъ мнѣ говорилъ въ утѣшеніе: «не тужи, — Софья Павловна, — проигралъ 100 рублей, зато, погода немного, выиграю шесть тысячъ жалованья! кабы ты знала съ какими людьми я игрой познакомился, уже теперь и въ канцелярії на меня иначе смотрятъ.» Я вѣрила ему — и старалась домашнею экономіею загладить его проигрыши. Но скоро эти проигрыши увеличились безъ мѣры. Кондратій Федоровичъ попалъ въ кругъ знатныхъ и богатыхъ людей, которые играли по-пятидесяти и по-сту рублей партію; часто мой мужъ въ одну недѣлю проигрывалъ весь нашъ мѣсячный доходъ и остальные три недѣли мы жили въ долгъ. Между-тѣмъ родилась у меня Дуняша, расходы наши увеличились, а мужъ мой продолжалъ все болѣе и болѣе проигрывать, въ ожиданіи того славнаго мѣста, на которое онъ имѣлъ виды. — Уже каждый день его приглашали на игру; онъ заложилъ мою деревню; полученные деньги уплатили часть нашихъ долговъ, остальные были проиграны. Деньги, которые приходили изъ деревни, употреблялись не на

проценты въ Опекунской Совѣтъ, по также на игру, — жалованья я уже болѣе не видала. Кондратій Федоровичъ не терять надежды, по характеръ его переѣнился; онъ началъ пренебрегать службою; ни я, ни дитя, ни что его не занимало; его или не было дома, или онъ по цѣлымъ часамъ сидѣлъ раскладывая карты и стараясь проникнуть въ таинства виста; мысль чрезъ карты вытти въ люди сдѣлалась въ немъ нѣкотораго рода сумасшествіемъ. — Когда, я въ отчаяніи, видя, что мое имѣніе скоро продадутъ съ молотка, называла его игрокомъ, онъ мнѣ отвѣчалъ, что онъ не игрокъ, потому что играетъ не въ азартныя игры, а въ благородную, коммерческую игру. Однажды я такъ его разжаловала, что онъ уже почти согласился оставить службу, поселиться въ моей деревнѣ, хозяйствомъ поправить разстроенныя дѣла, — я была такъ счастлива въ эту минуту, мы такъ весело и спокойно разговаривали о планахъ нашей жизни, вычисляли во сколько времени можемъ избавиться отъ долга, — какъ вдругъ зазвонилъ колокольчикъ; какой-то важный человекъ, на котораго мой мужъ

очень надѣлся, прислалъ непременно просить Кондратія Федоровича на партію виста съ какимъ-то пріѣзжимъ игрокомъ, ибо мой мужъ уже славился своимъ искусствомъ. Денегъ у насъ не было — просьбы мои остались тщетны — мой мужъ взялъ у меня почти насильно шалевой платокъ, который онъ мнѣ подарилъ на свадьбу — и заложилъ его у ростовщика. — Думалъ-ли этотъ господинъ, безпечно приглашая моего мужа для своего удовольствія, что его партнеръ раззоряетъ свое семейство! Что сказать вамъ — искусство моего мужа въ игрѣ не превозмогло его постоянного несчастія! деньги были проиграны, за шалью послѣдовала мой салопъ, мои платья, кольца, мебели въ домѣ — все, все. Однажды, когда хлѣбникъ объявилъ намъ, что онъ не будетъ болѣе отпускать въ долгъ хлѣба, Кондратій Федоровичъ получилъ извѣстіе, что то мѣсто, на которое онъ надѣлся, отдано другому; за бѣдою бѣда, — беспорядочная жизнь моего мужа была причиною многихъ упущеній по службѣ: онъ былъ отрѣшенъ отъ должности и отданъ подъ судъ; этого стеченія

несчастій не перенесъ мой бѣдный Кондратій Федоровичъ; кровь бросилась ему въ голову, и онъ умеръ въ теченіе сутокъ. Я осталась одна, безъ пріюта, съ ребенкомъ; положась на Бога, и уже рѣшилась было, взявъ на руки Дуняшу, идти пѣшкомъ въ свою деревню, ибо доѣхать было не на что, когда получила извѣстіе о новомъ несчастіи: сосѣдъ нашъ по деревнѣ, который постоянно вокругъ нее щечился, видя, что мы ею не занимаемся, что ее скоро можетъ быть продать съ аукціоннаго торга какому-нибудь другому, болѣе смысленному хозяину, разсудилъ, что ему всего выгоднѣе будетъ оттянуть ее къ себѣ; ни съ того, ни съ сего онъ завелъ процессъ, о которомъ мой мужъ и не вѣдалъ, весь погруженный въ карты! Что мнѣ было дѣлать, мнѣ, слабой, безпомощной женщинѣ? Я не потеряла однако же духа: съ помощію труда, просѣвъ, я успѣла было нѣсколько поправить дѣло; но судьба не оставляла меня преслѣдовать; моимъ судьей былъ Сешюша! Я имѣла неосторожность притти просить его, еще большую говорить о благодѣлїяхъ моего ба-

тешки, — моя участь была рѣшена; мой видъ, напоминавшій Сенюшѣ его прежнее состояніе, привелъ его въ ярость, которой онъ даже не умѣлъ скрыть подъ своей холонской физиогноміею! — Мой процессъ былъ проигранъ. Что говорить вамъ болѣе! мнѣ некуда было приклонить голову; я рѣшилась идти даже въ горничныя; но насъ нанимавшіе въ моему паспортъ встрѣчали слова: чиновница 6-го класса — мнѣ отказывали; эти слова останавливали даже руку, которая готова была помочь мнѣ; меня считали или обманщицею, или объявляли себѣ мое несчастіе самымъ оскорбительнымъ для меня образомъ. Такъ я лишилась нѣсколькихъ выгодныхъ мѣстъ, которыя бы могли обезпечить мое существованіе; я принялась за ручную работу, но каждый мѣсяць находила, что проживаю болѣе, чѣмъ вырабатываю, каждый день старалась уменьшить мои издержки, и наконецъ дошла до того состоянія, въ которомъ вы меня застали! — »

Я оставилъ несчастную вдову въ своемъ домѣ; она работала очень прилежно и скоро сдѣлалась правою рукою моей жены

въ ея хозяйствѣ. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ.

Однажды, пробѣгая газеты, я увидѣлъ объявленіе одного господина, котораго вамъ не назову, и который, объявляя себя единственнымъ наследникомъ послѣ покойной графини Б* *, умершей въ чужихъ краяхъ, вызывалъ, по обыкновенію, должниковъ и кредиторовъ. Имя графини показалось мнѣ знакомымъ; я вспомнилъ, что когда мы толковали съ моею вдовою о родствѣ ея и о прежнихъ связяхъ, она мнѣ назвала графиню, какъ ближайшую свою родственницу; я показалъ это объявленіе Безрукиной, и, послѣ нѣкоторыхъ розысканій, мы убѣдились, что не господинъ, объявлявшій въ газетахъ, а она была настоящая, единственная наследница послѣ графини. Я совѣтывалъ Безрукиной не упускать этого неожиданнаго счастья и предъявить въ судъ свои неоспоримыя права на наследство. Нѣсколько дней спустя, у моего крыльца остановилась щегольская карета четвернею; изъ нея вышелъ человекъ пожилыхъ лѣтъ съ весьма почтеннымъ видомъ. Онъ вѣжливо спросилъ госпожу Безрукину и

пожелалъ говорить съ нею наединѣ. Послѣ получасоваго разговора, Безрукина вышла ко мнѣ, оставя въ гостиной своего собесѣдника. «Что вы присоветуете мнѣ, Мартынь Григорьевичъ?» сказала она мнѣ: «этотъ господинъ говорилъ мнѣ много и долго; многаго я не поняла; но вотъ что мнѣ понятно: онъ убѣжденъ, что я дѣйствительно единственная наследница послѣ графини, но также убѣжденъ, что если заведеть со мною процессъ, то выиграетъ его. Онъ мнѣ предлагаетъ, во избѣжаніе всякихъ непріятностей, кончить это дѣло благородно; то есть: раздѣлить съ нимъ наследство пополамъ; за это онъ обѣщался защитити мое имѣніе отъ всякихъ другихъ притязаній.»

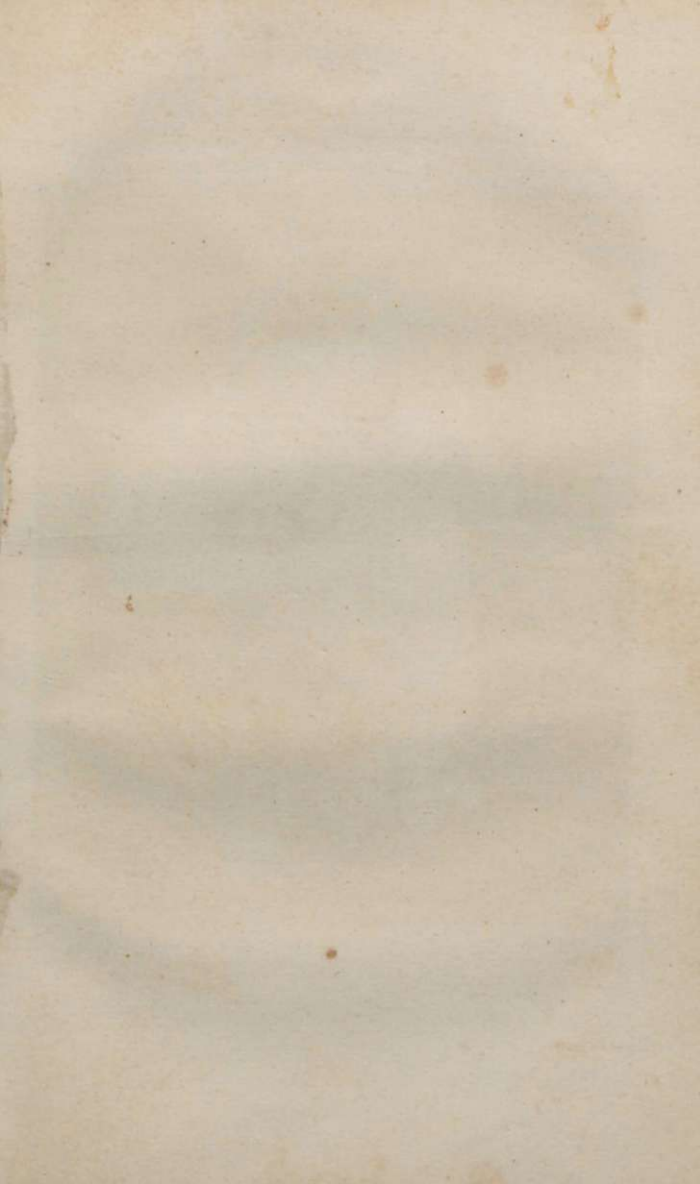
Я давно уже зналъ этого господина: онъ былъ очень богатъ, пользовался въ городѣ репутаціею отличной честности и безкорыстія; былъ опекуномъ у нѣсколькихъ сиротъ, членомъ нѣсколькихъ домашнихъ комиссій — вездѣ почтенъ, вездѣ уваженъ. Въ самомъ же дѣлѣ онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые дѣйствительно добры, благородны и честны, но до извѣст-

ной степени; которые, живя вообще безгрѣшно, не посоветятся однако же сдѣлать въ жизни двѣ-три маленькія подлости: немножко польстить, немножко обмануть, немножко оклеветать, когда въ этомъ видятъ вѣрную выгоду. Онъ былъ богатъ, силенъ и расторопенъ, она — женщина бѣдна и безъ связей. Думать было нечего — я присовѣтывала ей согласиться на благородное предложеніе.

Такъ и вышло. Теперь моя Безрукина богатая дама; у нее домъ и до 5-хъ тысячъ душъ. Она дѣлаетъ много добра; ее любятъ, къ ней ѣздятъ люди большого свѣта. Въ ея гостиной возбуждаютъ всеобщее удивленіе только два предмета: я и на атласной подушкѣ безхвостая пестрая кошка, которую она какъ-то случайно отыскала; эта добрая женщина пользуется вопросами своихъ посѣтителей и часто рассказываетъ свою связь съ этими двумя страшными въ гостиной существами. — И забылъ вамъ сказать: прежняя ея хозяйка не забываетъ приходить поздравлять свою прежнюю наемщицу со днями именинъ и рожденія; Безрукина высылаетъ къ ней

25-ти-рублевую бумажку и богатая купчиха уходит очень довольною. Безкорыстный господинъ также посѣщаетъ мою пріятельницу и играетъ у нее въ вистъ, какъ ни въ чемъ не бывало; въ городѣ разсказываютъ, что онъ въ дѣлѣ съ Безрукиной поступилъ въ высшей степени благородно.

К. В. О.





Искаль А. Венеціановъ.

Графъ О. Райтъ.

МАТЬ УЧАЩАЯ ДѢТЕЙ
СВОИХЪ МОЛИТЬСЯ.

БѢЛАЯ ДАМА.

(К. т. р. . в А. к. с. д. . в Т. м. ш. . ой.)

The cheek may be tinged with a warm sunny smile,
Though the cold heart to ruin runs durnly the while.

(MOORE'S HEBREW MELODIES.)

И ризы черныя и трауръ сбросивъ свой,
Очаровательна, въ одеждѣ бѣлоснѣжной,
Съ живою любезностью, съ привѣтливостью нѣжной,
Она, пѣвица думъ, явилась предо мной,
Блестя красотою и свѣжестью веселья.
Какой-то роскошью дышалъ нарядъ ея:
Уборъ на головѣ, шарфъ, платье, ожерелье,
Всё яркой бѣлизной сіяло вкругъ нея.
На томящую лазурь очей уныло-ясныхъ
Рѣсницы темныя покровъ бросали свой;
Во взорахъ пламенныхъ, приманчиво-опасныхъ,
Изображалась умъ съ чувствительной душой.
Въ ней что-то тайное и неземное было;
Она, казалось, пришла изъ царства Фей,
Она влекла къ себѣ neodолжимой силой,
Лишь одного жезла недоставало ей.
Но съ равнодушіемъ пріѣтъ нашъ принималъ,

Но, средь забавъ, одна, скучна, невесела,
Питѣмъ не занята, безмолвствуя, мечтая,
Она въ самой себѣ погружена была.
Прекрасное чело носило слѣды страданья,
И безпокойствіе взоръ бѣглый выражалъ.
Конечно, мучило ее воспоминанье,
Конечно, сонъ былой ей душу волновалъ?
Подъ дымкой праздничной, кто знаетъ, что таится?
Чѣмъ сердце сжатое и полно и больно?
Такъ, въ день торжественный, дождь, брошенный давно,
Снаружи яркими огнями загорится,
А безъ жильцовъ внутри всё мертво, всё темно.

Г. Е. Р А.

(Москва, 14-го Сентября 1851.)

СТАНСЫ

(ИЗЪ «МОРСКАГО РАЗБОЙНИКА» ЛОРДА БАЙРОНА).

Глубоко въ тишигѣ, предавъ на вѣкъ безмолвю,
Я тайну нѣжную храню въ груди моей;
И сердце томное, къ тебѣ дрожа любовью,
Ввѣрлетъ лишь её одной любви твоей.

Подъ сводомъ тихая лампада гробовая
Бросаетъ вѣчный свой никѣмъ незримый свѣтъ,
Не тмитъ ее тоска, во мракѣ унывалъ,
Хотя напрасенъ блескъ, какъ-будто вовсе нѣтъ.

О, не забудь меня и близъ моей могилы!
Увы, когда пройдеши, то вспомни милый прахъ,
Одинъ ударъ убьётъ мои душевны силы,
Забвенья твоего ужасенъ сердцу страхъ.

Будь тронуть пламенной, нѣжнѣйшею мольбою
О тѣхъ, кого узя нѣтъ: печаль есть долгъ святой;
Обрадуй тѣнь мою сердечною слезою,
Наградой за любовь, послѣднюю — одной.

ИВАНЪ КОЗЛОВЪ.

ЭЛЕГИЯ.

Она жила, дитя, подъ сѣнью мира,
И по цвѣтамъ ея луговъ родныхъ,
Ей руки давъ, два рѣзвые зефира
Ее влекли на крыльяхъ голубыхъ.
Какъ бѣлый пухъ, кружившись съ милымъ роємъ
Забавъ, и сновъ, и Ангеловъ, она,
Покнута подъ душнымъ жизни зноемъ,
Смята въ цвѣту, въ душѣ поражена,
Съ слезой въ очахъ осталася *одна!*
Брасавица — но призракъ животворный,
По сонъ любви слетѣлъ съ ея очей,
И живопись Эдемская предъ ней,
Въ рукахъ судьбы, свернулась въ свитокъ черный!...

БАРОНЪ РОЗЕНЪ.

ПРОЩАНІЕ.

Глаза твои сомкнулись. Трудный путь
Оконченъ. Срокъ насталъ успокоенья.
Земля, какъ щитъ, тебѣ закрыла грудь
Отъ новыхъ ранъ, отъ муки и томленья.
Пусть мѣръ идетъ, какъ онъ доселѣ шель,
Пускай кипитъ и суета и злоба:
Что въ шихъ тому, кто рано отошелъ
Въ сѣнь тихую безсмертія и гроба?
Могильный холмъ увѣнчанъ купой розъ,
Зеленый дернъ подножье одѣваетъ:
Роса его вседневно поливаетъ,
Роса ничѣмъ неосушимыхъ слѣзъ!
Но пусть тоска желаетъ дни пресѣчь,
Пускай любовь отчаяніемъ дышетъ
И сиротство заводитъ съ камнемъ рѣчь:
Не слышатъ ихъ почившая, не слышатъ!...
Всѣ, чѣмъ я здѣсь гордился, дорожилъ,
Въ чемъ видѣлъ цѣль труда и вдохновенья,
Что было мнѣ звѣздой откровенья,
Всѣ, всё съ тобой въ могилу положилъ.
Прости, мое сокровище!... Терять
И находить мнѣ нечего на свѣтѣ!

Кому теперь грусть сердца повёртять
И видѣть рай въ плѣнительномъ отвѣтѣ!
Какъ горестенъ, какъ страшенъ мой удѣлъ!
И тамъ и здѣсь безлюдная пустыня!
Затворена пріютная святыня
И до конца я рокомъ обдѣляю!
Отъ долгихъ лѣтъ надежды не прибудеть!
Могучій духъ, невольникъ, господинъ,
Чтобъ ни былъ я, но счастья не будетъ:
Всегда одинъ, вездѣ, во всемъ одинъ!
И такъ прости Дозволишь ли порою
Твой мирный домъ страдальцу посѣтить,
Прийти къ нему знакомою тропою
И о быломъ прахъ милый спросить?
Пусть будетъ онъ и нѣмъ и безотвѣтенъ,
Пускай тепла и бытія въ нѣмъ нѣтъ;
Но для меня онъ болѣе привѣтенъ,
Роднѣ мнѣ, чѣмъ этотъ грустный свѣтъ.

БЕРНЕТЪ.

РУСАЛКА.

БАЛЛАДА.

I.

Чудо, слышите, какое:
Съ четверга передъ Святою
Затуманился Вадимъ;
Тайной горестью томимъ,
Онъ отъ мира отказался,
Загрустнѣлъ, затосковался:
День проводить подъ окномъ;
Ночь придетъ — Вадимъ кругомъ
Ходить по лѣсу, несчастный,
Страшной думой возмущенъ;
Хохотъ дикій, хохотъ страстный —
Все Вадима дразнить онъ;
Полонъ гибельной отравы,
Гонимъ въ дебри и дубравы,
На урвищи береговъ,
Въ пѣсляхъ вѣтра, въ вопляхъ бури,
Въ блескѣ трепетномъ лазури,
Въ шумномъ говорѣ лѣсовъ —

Все мерещится ужасный
Хохотъ дикій, хохотъ страстный.

Какъ недвижна, какъ ясна
Водъ кристальныхъ глубина!
Вѣтръ запутался въ осоки,
Мѣсяцъ моется въ потокѣ
И по снѣгѣ Дифира
Сыплетъ искры серебра.
Снять всѣ мертвые, живые.
Загляните въ глубину, —
Борни ползаютъ по дну,
Вьются травы водяныя —
Все притихло; но порой
Слышенъ хохотъ подъ водой.

Ранней розовой зарей,
Дѣвъ подводныхъ хороводы
Пѣвать дремлющія воды
Беззаботною игрой.
Но милье холодной влаги
Иль завѣтные брега,
И цвѣтистые луга,
И лѣсистые овраги.
Дорогъ дикой воли мигъ!
Бросивъ темныя пучины,
То бѣгутъ они въ долины,
То верхи березъ сѣдыхъ,

Сплетши гнѣкими вѣтвями,
Всѣ колышатся толпой,
И съ вершинъ, всплеснувъ руками,
Въ волны скачутъ чередой.

И, дышать позабывая,
Смотрить тающій Вадимъ,
Какъ прелестницъ дикихъ стаи
Веселится передъ нимъ.

«Намъ приволье средѣ валовъ
И туманы намъ покровъ
Стелютъ надъ водами;
Пьемъ дыханіе цвѣтовъ
И гирлянды легкихъ снеговъ
Мы свиваемъ сами.

«Трескъ-ли, пламя въ вышнѣй,
Буря-ль надъ водою,
Мы шалимъ на тихомъ днѣ
Съ рыбкой золотою.

«И когда любимецъ водъ,
Мѣсяцъ, серебрится,
Нашъ веселый хороводъ
На скалахъ рѣзвится.
Косы чешемъ, вьемъ вѣски....
Вотъ задумался вдали
Путникъ одинокій —
Мы аукнемъ за скалой,
Улыбнемся надъ водой,
Блнкнемъ за осокой.

« Мигъ — и путникъ ужь съ волной
Борется холодной.
Вотъ въ объятъя къ намъ прыгнулъ,
Улыбнулся и уснулъ
На скаль подводной.
И, безумецъ, въ безднѣ водъ,
Онъ играть не хочетъ,
Въ черепъ змѣй къ нему ползеть,
Ракъ утробу точить.
Мы жь играемъ на волнахъ.»

.....

II.

Пуца дремлетъ надъ рѣкой
И стоитъ у пуци той
Одноглазая лачужка,
А въ лачужкѣ той старушка,
У старушки черный котъ,
Черный пѣвень, черный боровъ.
Много чудныхъ разговоровъ
Про нее сложили народъ:
Будто днемъ она горбата,
Ночью жь, диво, какъ мила,
Будто съ нимъ за панибрата
Измаденчества была.

Ночь. — Трещитъ лучина тѣля;
Отблескъ бѣгаетъ, краснѣя,
По растреснувшимъ стѣнамъ;

Темень бродитъ по угламъ.
Полночь бьетъ — и веселѣе
Пѣвень пѣсенки поетъ,
Сказки сказываетъ котъ,
Боровъ шаркаетъ щетиной,
А старуха ворожить:
То пошепчетъ надъ лужиной,
То съ угломъ поговорить;
Ночь темна, и надъ свѣтлицей
Блескавица съ трескавицей. (*)

Стукъ, стукъ. «Кто тамъ?» — Это я.
Отомкни, ворожея! —
«Итъ, мнѣ гость другой ненуженъ:
Ѣдетъ братъ ко мнѣ на ужинъ;
Путь широкъ, а ночь долга —
Доберешься до угла,
Добредешь, не торопись;
Волкъ посвѣтитъ у болотъ,
Боромъ лѣшій проведетъ.
Смерзнешь — въ небо постучися!
Ѣдетъ братъ, спасай себя,
Пахнеть Русью отъ тебя!»
Но прищелецъ неустрашимъ
Въ двери ветхія стучить.
Вотъ, усѣвшись близъ Вадима,
Ужь старуха ворожить.

(*) Молнія и громъ.

«Знаю ихъ. Русалки эти
Некрещеныя всѣ дѣти;
Имъ до страшнаго суда
Обитаище — вода.
Ты во вторникъ Оомною
Къ нимъ иди передъ зарею
И съ собой туда возмешь
Мѣдный серпъ и острый ножъ.
Выйдетъ на берегъ станица,
Отбѣжить твою дѣвица,
Ты схвати ее, потому
Очерти себя пожемъ.
Всѣ заплачутъ, захлопочутъ,
Да черты не перескочутъ.»

III.

Дѣва въ кельи потаенной
У Вадима заперта,
И молчанье неизмѣнно
На устахъ ея всегда;
Но Вадимъ, истаявая,
Внемлетъ чудный разговоръ:
Сладка рѣчь ея пѣмая,
Дикъ и пѣженъ страстный взоръ.
Будто розовой зарею
Блещетъ дивная краса,
И зеленые власа
До колѣнъ ея волною;

Очи влагой голубою
Нашты, какъ небеса.

IV.

Долго съ сѣрой колыбелю
День унылый не встаетъ,
Вѣтръ, въ поляхъ крутя вятелю,
Пѣсь осеннюю постъ,
Свищетъ жалостно въ прорубѣ,
Пыльнымъ тянется столбомъ.
Вотъ зима въ пушистой шубѣ
Ужъ стучится подъ угломъ.
Но повѣялъ вѣтръ весенній,
Снова Божій мѣръ цвѣтеть
Для Вадима, какъ мгновенье,
Пролетѣлъ счастливый годъ.
Вотъ приходитъ Оомниа.
Плачетъ дѣва молодая,
И тумаша и грустна
Не отходить отъ окна.
Вотъ во вторникъ Оомниою
Слышенъ хохоть предъ зарею —
Вторить хохотомъ она.
Ближе хохоть, ближе пѣнье —
И русалка изъ окна
Унеслась, какъ привидѣнье.

Долго въ дебряхъ и лѣсахъ
Онъ грустилъ, обвороженный,

О кося ея зеленой,
О лазоревыхъ очахъ,
Безъ надежды, безъ отрады.
Но въ преданьяхъ онъ живеть
И теперь еще, въ калыды,
Говорить объ немъ народъ.
Есть молва, что на затоки
Челны съ неведомъ плыли
И трупъ гришника въ осокъ
Защекоченный нашли.

И. ПОЖАРСКІЙ.

КЪ ДРУЗЬЯМЪ.

Други, други! не корите
Вы укорами меня!
Потерпите, подождите
Воскресительнаго дня!

Онъ проглянетъ, вновь проснется
Сердце въ сладкой тишинѣ,
Встрепенется, разовьется
Вольной птичкой въ вышинѣ.

Съ краснымъ солнцемъ въ небо снова
Устремитъ оно полеть,
И въ часъ утра золотого
Въ сладкой пѣсни разцвѣтетъ.

Миръ Господень такъ чудесенъ!
Такъ отраденъ вольный путь!
Сколько зеренъ звучныхъ пѣсень
Западетъ тогда мнѣ въ грудь.

И восторгомъ ихъ обвѣю,
Слезъ струями напою,

Жаркимъ чувствомъ ихъ согрѣю,
Въ Русской рѣчи разолью.

И на звукъ ихъ отзовется
Сердце юноши тоской,
Грудь дѣвицы всколыхнется,
Стають очи подъ слезой.

П. ЕРШОВЪ.

КЪ ИТАЛЛУ-ПЪСНОПЪВЦУ.

(VI РИМСКАЯ ЭЛЕГИЯ.)

Слава покойному Плавту! Смѣялся Горацій, Агриппа,
Самъ молчаливый и вѣчно угрюмой Преторъ и Консулъ,
Прочь отогнавъ труды и заботы дневныя, смѣялись —
Чернь, добродушно, съ раскатомъ, Патриція тихо, но
гордо.

Римскія жены, отринувъ стыдливости робкой покровы,
(Какъ измѣнились въ то время желѣзные Римскіе нравы!)
Смѣло, безъ краски, смотрѣли на образъ нагаго соб-
лазна;

Легкой улыбкой красуясь, взорами взоровъ искали,
Страстнымъ желаньемъ смущая вниманіе амфитеатра.

Юноша, ты не смѣялся! Я видѣлъ, какъ яркія очи
Въ сумракъ звѣздно блистали, видѣлъ, какъ жаркія перси,
Полныя пѣсень живыхъ и живыхъ вдохновеній, взды-
мались

Вздохомъ тяжелымъ, волнуясь вздохомъ любви безна-
дежной.

Видѣлъ, какъ дѣва Римлянка, славная дивной красою,
Съ чувствомъ досады, обиды недвижные взоры встрѣ-
чала.

Юноша! Плавать былъ печаленъ, досадеиъ и скученъ —
не такъ ли?

Горькой соли сатиры, не шутокъ низкихъ и грозныхъ
Пламени жаждаль языкъ твой, не словъ расщепрен-
ныхъ забавой!

У лицедея ты вырвать готовъ былъ презрѣнную маску,
Въ рабскій котурнъ Гистріона вступить благородной
пятою.

.....
Что жъ бы сказалъ ты на сценѣ міровластителя—Рима?
Ахъ, для счастливецевъ понятна ль печальная пѣснь
Симонида?

Безъ состраданья катятся жемчужныя слезы Назона;
Гибнетъ Овидій — за чувство, а Плаву толпа руко-
плещеть.

П. КУКОЛЬНИКЪ.

С.-П.В. 19 Апрѣля 1837 года.

КЪ ПОЭТУ.

* ... * ... * вой.

Для 4-го Декабря.

I.

Кто скуётъ тебя, океанъ съдой,
Кто скуётъ тебя глыбой льдиною,
Бакъ завѣтною, боевой броней
Подъ насѣчкою серебриною?

Разволнуешь ты, расколышешь ты
Грудь широкую, грудь могучую,
Грозно скажешься и задышешь ты
Пѣной бѣлою и кипучею.

Въ пыль холодную сокрушится лёдъ,
По волнамъ твоимъ онъ развѣется,
И затихнешь ты, а равнина водъ
Глубже прележняго заснѣется.

II.

Кто убьётъ тебя, мой Поэтъ молодой,
Кто убьётъ тебя злобой скрытою,
Словно мѣткою, каленой стрѣлой,
Трехъ-зубчатою, ядовитою?

Ленимъ соколомъ отъ вражды людей
Ты поднимешься въ поднебесную,
Запоёшь ты тамъ о любви своей
Пѣсню сладкую и чудесную!

При гармонии той лютый врагъ-змѣя
Повреждать тебѣ заопасится,
И, простя его, вся душа твоя,
Ярче преждего разукрасится.

В. СОКОЛОВСКІЙ.

Я ПЕРЕЖИЛЪ.

Я пережилъ и многое и многихъ,
И многому извѣдалъ цѣну я;
Теперь влачусь въ одинохъ предѣлахъ строгихъ
Извѣстнаго размѣра бытiя.
Мой горизонтъ и сумраченъ и близокъ,
И съ каждымъ днемъ все ближе и темнѣй:
Усталыхъ думъ моихъ полетъ сталъ низкокъ,
И мiръ души безлюднѣй и бѣднѣй.
Не заносиусь впередъ мечтою жадной,
Надежды гласъ замолкъ, и на пути,
Протоптанномъ дѣйствительностью хладной,
Ужъ новыхъ мнѣ слѣдовъ не провести.
Какъ ни тяжелъ мнѣ былъ мой вѣкъ суровой,
Хоть житницы моей занасъ и малъ:
Но ждать ли мнѣ безумно жатвы новой,
Когда ужъ снѣгъ изъ зимнихъ тучъ началъ?
По бороздамъ серпомъ пожатой пашни
Найдешь еще, быть можетъ, жизни слѣдъ:
Во мнѣ найдешь, быть можетъ, слѣдъ вчерашнiй,
Но ничего ужъ завтрашняго нѣтъ.

Жизнь разочдась со мной: она не въ силахъ
Мнѣ то отдать, что у меня взяла,
И что земля въ глухихъ своихъ могиллахъ
Безжалостно навѣки погребла.

КН. ВЯЗЕМСКІЙ.

КАЗАКЪ НА ЧУЖБИНѢ.

(УКРАИНСКАЯ МЕЛОДИЯ.)

Поѣхалъ далеко казакъ на чужбину
На добромъ конѣ ворономъ.
Свою онъ Украину навѣки покинулъ:
Ему не вернуться въ отеческій домъ!
Напрасно казачка его молодая
И утро и вечеръ на Сѣверь глядитъ,
Все ждетъ да пождетъ, изъ полночнаго края
Бъ ней милый когда прилетитъ.
Далеко, откуда къ намъ вѣютъ метели,
Гдѣ страшно морозы трещать,
Гдѣ сдвинулись дружно и сосны и ели,
Базацкія кости лежать.
Казакъ и просилъ и молилъ, умирая,
Насыпать курганъ въ головахъ:
« Пускай на курганъ калина родная
« Брасуется въ яркихъ плодахъ.
« Пусть вольныя птицы, садясь на калинѣ,
« Порой прощепечутъ и мнѣ,
« Мнѣ бѣдному, вѣсть, на холодной чужбинѣ,
« О милой родной сторонѣ!»

Е. ГРЕБЕНКА.

МЕЧТА

И

ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Une illusion — voilà notre bonheur!

На Вербной недѣль, въ Пятницу, Сергій Лиринъ былъ удивительно недоволенъ Петербургскими красавицами. Человѣкъ созданъ съ пристрастными желаніями: иногда хочется ему взлѣзть на Чатырдагъ, иногда съѣсть кусокъ вкусной кулебяки; то жаждетъ онъ славы, блистательной страницы въ исторіи, то вздумается ему выпить бутылку кислыхъ щей, повертѣться, подобно сумасшедшему, въ вихрь вальса, въ кругу плѣнительныхъ розовыхъ дѣвушекъ; то пойдетъ на кладбище разсуждать о суетѣ мірской. Въ тотъ день Лирину страстно

хотѣлось увидѣть хорошенькое личико; съ этимъ желаніемъ онъ цѣлый вечеръ проходилъ подъ вербами, смотрѣлъ на всѣ стоны, заглядывалъ во всѣ лавки — и какъ на бѣду, ни одной хорошенькой!

Ни одной хорошенькой! Слыханная ли дерзость! И кто-же это говоритъ! добро бы графъ, князь, или, по крайней мѣрѣ, богатый гвардейскій полковникъ; а то, сдѣлайте одолженіе, такую дичь изволить разглашать Сергѣй Лиринъ, армейскій Прапорщикъ. Позволительно ли это, мои прекрасныя читательницы: въ Петербургѣ ни одной хорошенькой и, гдѣ же — въ Гостинномъ дворѣ, въ Пятницу, на Вербной недѣлѣ? Счастье его, что онъ сказалъ это не при мнѣ, счастье его, что я не военный! . . .

Лиринъ былъ очень молодъ; не болѣе году, какъ его выпустили изъ Кадетскаго корпуса (я былъ такъ сердитъ на него, что даже не хотѣлъ узнать изъ котораго). Возвратившись домой, онъ нѣсколько разъ прошелъ по комнатамъ, и вмѣсто того, что бы переменить сюртукъ на спокойный архаукъ, закурить трубку и, въ ожиданіи чая, сдѣлать очаровательный кейфъ, какъ

поступаютъ, послѣ усталости, всѣ порядочные люди, Лиринъ съ Песковъ отправился къ Полицейскому мосту; видно, молодыя, здоровыя ноги! и, какъ вы думаете, зачѣмъ? выбрать въ магазинъ Юнкера хорошенькую головку.

Три огромныя портфеля съ картинами были пересмотрѣны — ни одной красавицы. Вотъ каковъ нашъ Прапорщикъ! Ха! ха! ха! ну, право это смѣшно! Лиринъ, выходя изъ магазина, осердился еще болѣе и крѣпко захлопнулъ за собою стеклянную дверь. Онъ пошелъ домой на Пески. Здоровыя ноги! Прямой пѣхотинецъ!

Развалившись на кожаномъ диванѣ, который служилъ ему и постелью, почему и былъ покрытъ полосатымъ ситцевымъ одѣяломъ, нашъ мечтатель началъ составлять идеалъ дѣвушки, въ которую бы онъ могъ влюбиться. Не знаю почему, вмѣсто головы, онъ началъ воображать свою богиню съ ножки узенькой, высокой въ подъемъ, стройной, въ черномъ банмачкѣ — и вотъ оборотительная ножка красавицы была готова. Само собою разумѣется, что хотя Лиринъ занимался одною ножкою, но онъ подразумѣ-

валь и другую, потому что на одной ногѣ хорошо стоять журавлю, а не красавицѣ. Потомъ, въ его воображеніи вымылся стройный, высокій станъ, словно выточенный изъ Каррарскаго мрамора, двѣ дивныя ручки — бѣленькія, пухленькія съ голубыми жилками и розовыми ноготками; вотъ и шейка, пѣнище лебяжьего пуха; вотъ и лицо во всей красѣ молодости. Русая коса, большими локонами распавшаяся по плечамъ, черные глаза, полные любви и пѣги, длинныя рѣсницы, Греческій носикъ, ровные бѣленькіе зубки за коралловымъ ротиномъ. Пунцовое газовое платье, бѣлый воздушный шарфъ, поэтически обвитый вокругъ шеи... Въ самомъ дѣлѣ Прапорщикъ былъ правъ: такую дѣвушку не скоро встрѣтишь и на Вербной недѣлѣ.

Чрезъ двѣ минуты былъ построенъ, убранъ и разукрашенъ великолѣпный будуаръ, съ золотымъ карнизомъ, шелковыми обоями, мозаичнымъ каминномъ, Персидскимъ ковромъ, зеркалами, бронзою, фарфоромъ, съ таинственною лампою — и въ немъ красавица на колѣняхъ, съ молитвою на устахъ, съ поднятыми глазами.

Лиринъ зажурилъ глаза и долго любовался прекрасною мечтою своего воображенія. Онъ былъ счастливъ; онъ былъ молодъ. Въ двадцать лѣтъ человѣку не надо много дѣйствительности; онъ богатъ внутреннимъ миромъ, желаніями, надеждами, мечтою. Воображеніе золотитъ его неопытные годы, переноситъ изъ края въ край, вѣнчаетъ лаврами и оливой; — вотрется опытность, и въ 50 лѣтъ, посѣдѣлый мужъ не только не въ состояніи представить себѣ хорошенькой дѣвушки, но и рогатаго козла съ порядочною бородою.

Лиринъ долго лежалъ, не открывая глазъ, и между-тѣмъ — какъ и рассказывалъ о преимуществахъ молодости, онъ окончилъ нравственное образованіе своего идеала. Скромность, любовь, изящный вкусъ, знаніе Европейскихъ языковъ, нѣсколько путешествій и одинъ талантъ къ музыкѣ, пѣнію, или живописи, должны были составлять внутреннее достоинство дѣвушки. Характеръ живой и веселый; небольшіе капризы, потому что капризы очень идутъ красавицѣ, а безусловная покорность дѣлаетъ ее похожею на теленка; какъ можно менѣе

родства и 20 тысячъ годового дохода. Последнюю статью Лиринъ прибавилъ такъ, на всякій случай, именно потому, что деньги придають много цѣнности всему, а слѣдовательно и невѣсть. — И вотъ, влекомый мечтой, нашъ Прапорщикъ занесся въ общество небывалой красавицы, слѣдилъ величественную поступь, плѣнительный взглядъ, граціозное движеніе; въ распаленномъ воображеніи ему посылались шаги; въ сладкомъ обманѣ чувствъ, онъ открылъ глаза...

— Не прикажете ли чаю, Сергѣй Петровичъ? — сказала ему шестидесяти-лѣтняя прислужница: — самоваръ давно кипитъ.

— Проклятая старуха, у нея лицо точно рѣпа печеная на сырыхъ осиновыхъ дровахъ!

Чай былъ фамильный; но Лиринъ выпилъ три стакана, съѣлъ связку кренделей, выпроводилъ прислужницу и, закуривъ изъ длиннаго крашеннаго чубука двухрублевый вакштафъ Жукова, предался прерванной мечтѣ.

Прошли мѣсяцы, годы — и поэтическая незнакомка была неразлучною спутницею Лирина. Онъ былъ вѣренъ очаровательной мечтѣ, онъ любилъ, лелѣялъ свой идеаль. Общество женщинъ не занимало его ни-

сколько. Всѣ онѣ были ниже прекраснаго его созданія. Онѣ были веселы, беззаботны, независимы. Онѣ были счастливы, онѣ любили свою мечту.

Въ одномъ изъ номеровъ Русскаго Инвалида было напечатано: «увольняется отъ службы, по домашнимъ обстоятельствамъ, * * скаго пѣхотнаго полка Подпоручикъ Лиринъ, Поручикомъ.»

Подпоручикъ Лиринъ безъ роду и племени, безъ состоянія, увольняется по домашнимъ обстоятельствамъ. Это что-то не вѣроятно. Какія домашнія обстоятельства могутъ быть у армейскаго Поручика; кожаная подушка, полосатый ситцевый халатъ, чубукъ, выкрашенный подъ черешню, самоваръ жѣлтой мѣди, два-три стакана, нѣсколько чайныхъ серебряныхъ ложечекъ и очень, очень немного суповыхъ, потому что супъ не есть необходимое кушанье въ армейскомъ обѣдѣ, коверъ и гитара — не болѣе, право не болѣе. Однако же нашъ мечтатель уволенъ «по домашнимъ обстоятельствамъ.» Заглянемте въ его бытъ; это очень интересно.

По четырех-мѣстной каретѣ, по шестеркѣ лошадей и по многочисленности обоого пола прислуги, вы тотчасъ догадаетесь, что Лиринъ женатъ. Стало быть, скажете вы, онъ нашель олицетворенный свой идеаль, который такъ былъ прекрасенъ? Вѣроятно.

Лиринъ влюбленъ по уши въ свою супругу. Супруга его, Катерина Власьева, дочь Ярославскаго помѣщика, 25-ти лѣтъ, небольшого роста, полная, съ толстыми коротенькими пальчиками и обкусанными ноготками, блонкурая, съ глазами неопредѣленнаго цвѣта, въ родѣ морской воды, съ короткими рѣсницами, похожими на вытертую щетку, съ удовлетворительнымъ ротикомъ, впрочемъ очень миленькая, живая, веселая, въ коленкоровомъ пеньюарѣ, — ласкала молодаго супруга въ небольшой гостиной, чуждой богатства и роскоши, но опрятно и со вкусомъ убранной. Не живописные замки Германіи, не великолѣпныя галереи Ватикана, не балеты Парижа занимали ея скромныя рѣчи: она рассказывала милому лѣта своего младенчества, которые мирно и однообразно протекли въ простотѣ сельской жизни, изрѣдка прерываемой ба-

лампъ въ губернскомъ городѣ. Жена Лирша не обладала ни однимъ талантомъ; она была добра, мила, хорошо воспитана и имѣла всѣ достоинства доброй жены: но ни въ лицѣ, ни въ мысли ея не было нисколько поэзіи; она была женщина *такъ, ничего*, какъ выражаются наши кавалерійскіе солдаты. И Лиршъ цѣловалъ ея руки, и, въ упоеніи восторга, повѣрялъ ей свою любимую мечту, въ которой представилась она ему, незнакомая, за нѣсколько лѣтъ. Опъ говорилъ ей о мученіи, съ которымъ отыскивалъ ее по бѣлому свѣту, о безконечной тоскѣ, о безнадежности и какъ явственно сказалъ ему сердце: *вотъ она!* при первомъ свиданіи съ нею. Лиршъ говорилъ отъ чистаго сердца: опъ любилъ, опъ обожалъ свою жену. Я не отнимаю ни одного изъ ея достоинствъ, но да извинитъ меня счастливый супругъ, если бы самый искусный художникъ выгравировалъ портретъ Катерины Власевны и прислалъ его въ магазинъ Юнкера, я не далъ бы за него не только пяти рублей, но едва ли и пять копеекъ. А Лиршъ былъ увѣренъ, что она первая красавица въ мірѣ, и, какъ двѣ капли

воды, похожа на ту поэтическую дѣвушку, которую, въ мечтательный часъ, создало нѣкогда его воображеніе.

Отъ чего-же такая замѣтная разница?

Взгляните на частную жизнь свѣта, господа! Кто не заносился мечтами? Кто не строилъ воздушныхъ замковъ? Блеснула полоса времени; мечты огрубѣли, разборчивыя требованія смягчились и, смотришь, нашъ гордый мечтатель блаженствуетъ у ногъ Катерины Власьевны, и возится съ нею, какъ цыганъ съ писаной торбой.

В. ВЛАДИСЛАВЛЕВЪ.

ТЫ СВѢТЛАЯ ЗВѢЗДА.

Ты свѣтлая звѣзда таинственнаго міра,
Куда я возношусь изъ тѣсноты земной,
Гдѣ ждетъ меня тобой настроенная лира,
Гдѣ ждутъ меня мечты, согрѣтыя тобой.

Ты облако мое, которымъ день мой мраченъ,
Когда задумчиво я мыслю о тебѣ,
Иль измѣрю путь, который намъ назначенъ
И гдѣ судьба моя чужда твоей судьбѣ.

Ты тихій сумракъ мой, которымъ грудь свѣжѣеть,
Когда на западъ заботливаго дня
Мой отдыхаетъ умъ и сердце вечерѣеть,
И тѣни смертныхъ спускаются на меня.

КН. ВЯЗЕМСКІЙ.

Я ОДИНОКЪ.

..... * * **ВОЙ.**

Для 4-го Декабря.

I.

Я одинокъ!.... Какъ эти звуки
Грозны душѣ, уму страшны!
Какъ хорошо въ нихъ вмѣщены
Всѣ наши скорби, наши муки!
Какъ ата гибельная рѣчь
Умно прилажена, чтобъ жечь
Огнёмъ томительныхъ страданій!
Какъ мастерски приловчена,
Чтобъ всё отнять, чѣмъ жизнь красна,
Весь рай сердечныхъ оянданій, —
Оставить въ полѣ бытія
Такимъ сироткою, какъ я!

II.

Свѣтлѣлись надежды, надежды блистали,
И рѣзво касатки-мечты
То къ небу взвивались, то съ неба слетали,
То вдругъ въ бириюзѣ высоты,

Какъ треп у флейты, какъ звуки свирѣш,
Какъ пѣсня въ родимой странѣ,
Такъ дивно и сладко крылатыя пѣли —
И пѣли о счастья онѣ!.....
И счастье, какъ свѣточъ, мнѣ ярко мелькнуло,
Всю даль разубрало въ зарю,
Всѣ сходы мнѣ настезь, какъ дверь, распахнуло;
И ринулся, всталъ и смотрю:
Дорога налѣво, направо дорога,
И прямо стези и пути;
Какъ много народа! людей-то какъ много!
Какъ весело съ ними идти!
Какія всё рѣчи! Какіе напѣвы
О сладкихъ дуни платехахъ!

.....
.....
Вездѣ поцѣлун, вездѣ всё объятъ,
И всюду жмутъ руку друзья:
Должны быть тѣ люди всѣ кровные братья!
Знать, это одна всё семья!.....
Пойду же смѣшаюсь теперь я съ толпами,
Сыщу я подругу себѣ.
Чтобъ радости съ нею вазать мнѣ снопами,
И пѣть славословья Судьбѣ,
И вмѣстѣ подъ говоръ радушнаго братства
Спѣшить по цвѣтамъ бытія
Къ роскошнымъ избыткамъ богатства;
Пойду жъ и смѣшаюсь я!.....

Пошёлъ, и сѣшался съ толпами тогда же,
И вызналъ, увлѣкшись въ потокъ,
Что въ людяхъ и мысли и чувства въ продажѣ —
И вызналъ — и сталъ одинокъ!

III.

На небесный на восходъ,
Какъ на свѣтлыя ступени,
Тѣни шли, всходили тѣни,
И какъ томный, дѣшный ходъ
За усопшимъ до могилы,
Такъ убійственно-унылы
И погубельно-ирачны
Шли на дальнія вершины
Тѣ ночные исполны
Въ ризахъ мѣртвой тишины.....
Тѣни шли на небосклонѣ,
И въ своёмъ утремомъ лонѣ
Затая грозу-бѣду,
Мрака черною грядою
За разсыпчатой звѣздою
Заслоняли мнѣ звѣзду.

Ужь ни пурпура, ни злата
Пѣть на скатѣ у заката;
Ужь не свѣтять здѣсь и тамъ
Ни лучи, ни глубь лазури;
Только вѣстниками бури
Видны тучи по мѣстамъ,

Какъ условленные знаки;
Только тѣни, только мраки,
Только въ мракѣ тишина,
Да вездѣ въ тиши воздушной
Стало жарко, стало душно,
Стала пагуба слышна!

*

А подь пагубой-бѣдою
Установленной чредою
Жизнь кипѣла, шли пиры,
Гдѣ горѣла честь огнями,
Гдѣ друзья передь друзьями
Такъ любилъ быть добры!....
Живо помню, какъ бывало
Время рѣчкой убывало
Въ этомъ неводѣ связей,
А за нашими пирами
Воздвигались горами
Увѣренія друзей.

*

«Бурно море, море свѣта;
«Но ужель душѣ Поэта
«Не презрѣть его валовъ?....
«Да, пускай вскипаетъ влага,
«А тебя твоя отвага
«Вознесётъ въ край орловъ,
«За вершины и за горы:
«Въ поднебесные просторы,
«Неуштаннныя зломъ —

«И, безтрепетно-могучій,
«Ты прорѣжешь мракъ и тучи
«Вдохновенія весломъ.
«Ты не общею стезею
«Быстроплатною ладьею
«Пролетишь сквозь эту мглу,
«Но въ развитыи силъ богатомъ,
«На кнучемъ, на девятомъ,
«На серебряномъ валу:
«Опъ подыметя, какъ стѣны —
«И хребтомъ своимъ изъ пѣны
«И алмазными плечми
«Вдаль умчитъ тебя высоко,
«Чтобъ въ отсвѣтахъ отъ востока
«Ты украсился лучми,
«И повидяся бы, счастливый,
«Въ огневитые разливы,
«И въ зарницы, и въ грома,
«Восторгая въ пѣсни звучной
«Эхомъ славы игролучной
«И гармоніей ума.
«Еслижь туча, вставъ порою
«Привидѣнемъ надъ горою
«Твой закроетъ свѣтлый видъ,
«Или вихрь изъ знойной степи,
«Вдругъ сорвавшись какъ съ цѣпи,
«На девятый налетитъ,
«Чтобъ загнать его на сушу,
«И восторженную душу,

«Гдѣ поэзіей святой
 «Всѣ упитано, какъ сотомъ,
 «Закрутитъ водоворотомъ
 «И загонитъ быстротой
 «Черезъ плавкія дороги,
 «На каменья и пороги, —
 «О, тогда, товарищъ - другъ,
 «Насладись ты дружбы правомъ,
 «И на опытѣ кровавомъ
 «Вызнай сердце въ насъ и духъ,
 «Вызнай ныль нашъ благородный,
 «И, вздохнувъ душой свободно,
 «Убѣдися и повѣрь:
 «Что для друга, что для брата,
 «Платой жизни, ливнемъ злата,
 «Всею тягостію потерь
 «Мы пожертвовать готовы.

*
 Вдругъ ударило сразмаха....
 Глядь: опасностей полки
 Танцуютъ горе, клвчуть муку....
 Я къ тому, къ другому руку —
 Нѣтъ отвѣтной мнѣ руки!
 А убійственное горе
 Вдругъ нахлынуло, какъ море,
 А нѣмая мука зла
 Грудь мнѣ грызла, грудь мнѣ жала,
 И, стремительнѣй кивкала
 Въ душу вивнися, душу жгла.

IV.

Опять одинокъ я!... Но развѣ въ природѣ
Всё только, что люди, всё только народъ,
И только блаженства, что въ этомъ народѣ?
Нѣтъ, вѣрно лазурный, торжественный сводъ
Глубокою тайной проникнуть не даромъ,
Не даромъ онъ съ утра, не даромъ къ ночи
Нарядно весь убранный румянымъ пожаромъ,
И весь, какъ на праздникъ, украшенъ въ лучи!
Не можетъ въ созданьи игры быть случайной,
И что-то другое чуть видно уму:
Займуся жъ я этой великою тайной,
Чтобъ, тайну сыскавъ, мнѣ не быть одному.

*

Ну вотъ я занялся... Высоко и круто
Всё мѣсто занятія было кругомъ;
Тамъ шагомъ отъ васъ уходила минута,
А къ вамъ огорченья бѣжали бѣгомъ....

*

Ну вотъ я занялся, и думалъ я много,
И вотъ что придумалъ въ глухой тишинѣ:
«Когда я увижу гдѣ бы ни было Бога,
«Тогда я свой бытъ увеличу вдвойнѣ.»

*

И вотъ я занялся въ покоѣ и мирѣ,
И викнулъ я въ небо сквозь мрачное зло, —
И умъ раздвигался, что дальше — то шире
И знаешь что дальше, то больше росло.

И вызнатъ я много. . . . И слѣва и справа,
И съ выси далёкой, и прямо съ лица —
Повсюду открылась мнѣ Божія слава
Безъ граней, безъ мѣры, безъ числа и конца.
Базалось мнѣ, въ мѣрѣ былъ рай уготованъ;
Ужъ не былъ одинъ я, а Онъ былъ со мной.

*

Вотъ время промчалось, и вотъ я оставилъ
Высокое мѣсто и грозную круть,
Гдѣ небо я встрѣтилъ, гдѣ небо я славилъ,
Гдѣ небо къ себѣ я заманивалъ въ грудь,
И снова я въ мѣрѣ, и въ мѣрѣ я снова,
Любуясь небомъ, живу не одинъ:
Я весь восторгаюсь при видѣ сятаго
Въ кипучемъ раздольи наземныхъ долинъ;
Я къ небу стремлюсь, и знаю до встрѣчи,
Что съ небомъ бесѣда какъ рай хороша,
Но часто въ устаткѣ вспоминаешь тѣ рѣчи:
Что я вѣдь окованъ, что я вѣдь *душа*, —
И мнѣ надо *душу*, и душу въ *одежду*,
Да эту одежду — какъ пышный *цѣттокъ*,
А я и теперь безъ *цѣттка*, какъ и прежде,
Такъ какъ же не скажешь, что я одинокъ.

V.

Да! До снтія съ безбрежностью,
Гдѣ другое бытіе,
Знать мнѣ будетъ принадлежностью
Одиночество моё!

*

Знать, должно разумной силою
Разорвать надежды нить,
Сдѣлать грудь свою могилою
И любовь тамъ схоронить.

*

Знать, съ пріветностію сладкою
Въ очарованной тиши
Не ушьюся я украдкою
Лаской спутницы души.

*

Вѣрно въ прелести гармоніи
Сочетанія сердець,
Бакъ въ нездѣшнемъ благовошіи,
Не дышать тебѣ, пѣвецъ!

*

Вѣрно очи, очи ясные,
Не посмотреть въ очи мнѣ,
Чтобы помыслы прекрасные
Прочитать въ ихъ глубинѣ!

*

Знать, чело, чело высокое
Не склонить ей мнѣ на грудь,
Чтобъ сочувствіе глубокое
Тамъ, какъ въ морѣ, зачерпнуть!

*

Этой думою окованный —
Ужь съ издавна плакалъ я,
И стоялъ разочарованный
Въ свѣтлыхъ чарахъ бытія.

Но ещё порой надѣянья
Лили пѣгу мнѣ тепла,
И душа отъ ихъ лелѣянья
Отдыхала и жила.

*

И въ часы уединенія
Я мечтаю: «придѣтъ она,
Вся, какъ роскошь упоенія,
Вдохновеннаго полна;

*

И, понявъ мои влеченія,
Станетъ свѣтить мнѣ въ глуши,
И святыней обрученія
Сочетаетъ двѣ души!»

*

Такъ порой мои мечтанія,
На душевномъ полотнѣ,
Рисовали очертанія
Предназначеннаго мнѣ.

*

Вдругъ, молодая, ненаглядная,
Мнѣ явилася она,
Милосивдностью нарядная
И смиреніемъ пышна.

*

Всѣ красы у ней невинныя,
Вся сама она чиста;
Очи — смоль, рѣсницы длинныя,
Увлекательны уста!

*

Въ ней всё чувства неподдѣльные,
И у дѣвы разговоръ —
Соловья раскаты трельные,
Эхо рѣчки въ лонѣ горь.

*

Въ ней всё мысли крѣпки сплюю,
Въ ней восторженъ быть ума,
И она съ улыбкой милою
Вдохновительна сама.

*

Не наземною, но дальною
Вѣсть жизнью она,
Вѣсть нѣгой идеальною
И фантазіей полна.

*

Вотъ какъ дѣва ненаглядная
Чудодѣйно-хороша;
Но взошла ль заря отрадная
Для тебя, моя душа?....

*

Нѣтъ, мечами бѣдъ изсѣченный,
Я остался въ забытьи,
Я остался незамѣченный,
Какъ ничтожный въ бытіи..

*

Да и кто въ душѣ ликующей
Дастъ изгнаннику пріютъ?
Чьи уста нектаръ врачующій
Въ сердце знойное прольютъ?

Кто съ привѣтностью участія,
Оцѣня душевный жаръ,
Поцалуй прямаго счастья
Дастъ пришельцу въ сладкій даръ?

*

Кто потомъ души желаніемъ,
На желанья давъ отвѣтъ,
Пролепечеть лепетаніемъ:
«Я твой, о мой Поэтъ!»

*

Все мертво и все безжизненно;
Лишь надъ чувствомъ у меня
Умъ смѣется укоризненно,
Рай сердечный не цѣна....

*

Стало, звѣзды ожиданія
Мнѣ не блещутъ съ вышины,
Стало, мнѣ одинъ страданія
Да печали суждены?....

*

Какъ же быть! Повею смиреніемъ
Свой страдальческій вѣнокъ,
Хоть съ отраднымъ тѣмъ видѣніемъ
Я и вдвое одинокъ.

В. СОКОЛОВСКІЙ.

В О Л Н Ы.

Льются волны, бьются волны,
Быстро падал съ высотъ,
Новыхъ силъ, отваги полны,
За волной волна идетъ.

— Что вы, волны, такъ упорны?
Убѣжать бы въ море вамъ,
Тамъ открыты, тамъ просторны
Всѣ пути съдымъ волнамъ;

А то что съ высотъ вы летесь,
Что враждуете съ землей?
Что напрасно вѣчно бьетесь
Съ человѣка злой рабой?

«Змы на землю мы за дѣло:
Не она ль растить лѣса,
Въ кораблѣ ихъ лѣшить смѣло
И даетъ швъ паруса?»

Не она ли посылаетъ
Тѣ громады насъ мучить?
И потоки засыпаетъ,
Хочетъ рѣки задавить?

Помнимъ мы иные годы:
Ложемъ намъ была земля,
Широко гуляли воды,
И смотрѣлись неба своды
Въ безпредѣльные моря.

Вотъ зачѣмъ несутся волны,
Быстро падая съ высотъ,
Новыхъ силъ, отваги полны;
За волной волна идетъ.»

Л. ЯКУБОВИЧЪ.

СОЛОВЕЙ.

Въ залѣ душно: блескъ и свѣчи,
Пестрая толпа гостей;
Въ залѣ хохоть, въ залѣ рѣчи,
Въ залѣ слышенъ соловей.
То искусно свиваетъ пѣсни
Предъ восторженной толпой
Изоземецъ молодой.
«Восхитительно, чудесно!»
Гости, хлопая, кричатъ —
И предъ ними снова пѣсни
Тѣ же самыя звучать.
А пѣвецъ земли небесный,
А свободный соловей,
Этой самою порою
Цады уснувшюю рѣкою,
Самъ, одинъ въ тиши ночей,
Для подружки только милой,
Не для славы и похвалъ,
Пѣснью звонкой, полной силы,
Сады и роццу обдавалъ.

Е. ГРЕБЕНКА.

МОЛВНІВ.

Когда міръ усталый предается покою
И бурныя страсти умолкнуть въ тѣхъ ночи,
Сидяемый горемъ, желаньемъ, тоскою,
Подъемлю я къ небу и руки, и очи, —
И, кинувъ заботы, и землю, и тѣло,
Лечу въ безпредѣльность покорно и смѣло.

Высокой надеждой мужааетъ безсилье,
Гармонію слышу я внутреннимъ слухомъ,
Парять надъ твореньемъ простертыя крылья,
Душа въ умиленьи сливается съ Духомъ,
И, полное силы, блистанья, эфира,
Звучить мое сердце, какъ вѣщія мира.

Тогда исчезаетъ томленья разлуки
Съ обителью свѣта, любви, возрожденья;
Пролитыя слезы, сокрытыя муки
Съ избыткомъ находятъ себѣ награжденье;
Былыя печали священны въ то время:
То иго благое, то легкое бремя!

О Царь мой, Отецъ мой! Зачѣмъ тѣ минуты
Такъ быстры и рѣдки средь жизненной стени,
И духъ, разорвавшій тяжелыя путы,
Къ чему ожидаютъ тягчайшія цѣпи, —
И сердце, постигнувъ верховную силу,
Начто упадаетъ въ земную могилу?.....

Пылай, вдохновенье, въ тѣлесной неволѣ!
Горячія слезы теките рѣкою!
Сиди подь главою лазурное поле,
Зови утомленье къ святому покою!
О еслибы чаще безсмертья начало
Земную темницу мою посѣщало!.....

БЕРНЕТЬ.

КЪ ВѢЛОЙ ДАМѢ.

Cachez votre coeur à ceux qui n'en ont point!

M-lle des Sènancourt.

Нѣтъ, счастье васъ не баловало!
Знакомъ вамъ звукъ судьбы угрозы;
Васъ жало скорби растерзало,
Вы разгадали тайну слёзъ,
Вы свыклись съ трауромъ страданья,
И чащу горестей испивъ,
Безъ упованій, безъ желанья,
Забыли радости порывъ.
Вы потушили *ретиное*,
Какъ сторожъ, тщетно ночь прождавъ,
Завтра, пламя береговое —
Лучи денницы увидавъ —
На башнѣ гасить одинокой,
И самъ отходить на покой. —
И вы устали!.. Сонъ глубокой
Владѣть вашею душой.
Но иногда, въ просонѣ смутномъ,
Былое вновь тревожитъ васъ:
Вы, какъ пловецъ въ дому пріютномъ,

Боготой помнитъ бури часъ.
И я, — когда въ глазахъ прекрасныхъ
Увижу крупную слезу, —
Богда во взорахъ вашихъ страстныхъ
Читаю душу и тоску, —
Я понимаю васъ, я знаю,
Какой недугъ вамъ сердце скалъ;
И всей душой тогда желаю,
Чтобъ безвозвратно миновалъ
Припадокъ грустныхъ воспоминаній. —
Что пользы пепель шевелить?.....
Что рану старую дразнить?....
Забудьте быль своихъ страданій!

Г. Е. Р....А.

(Москва. Апрель 1832.)

ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА ОРЛОВСКАГО.

Грустно видѣть, Русь святая,
Бакъ въ степенные года
Нашихъ предковъ удачал
Извѣчшася ѣзда.

Толи дѣло въ старь: тѣлега,
Тройка, ухорскій ящикъ,
Ночью дуешь безъ ночлега,
Днемъ же высунувъ языкъ.

Но за то какъ все кипѣло
Беззаботнымъ удалствомъ!
Жизнь — копейка! бей же смѣло,
Да и ту поставь ребромъ!

Но какъ весело, бывало,
Раздавался подъ дугой
Голосистый заговало,
Болокольчикъ разсыпной.

А когда на водку гривны
Ямщику не пожалѣть,
Что за пѣсни заунывны
Онъ начнетъ, сердечный, пѣть!

Сѣверъ блѣдный, Сѣверъ плоскій,
Степь, родныя облака —
Все сливалось въ отголоски,
Гдѣ слышна была тоска.

Но тоска, струя живая
Изъ роднаго тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска.

Сердце сердцу вѣсть давало,
И изъ тайной глубины
Все бывшее выкликало
И всѣ слезы старины.

Не увидишь, какъ проскачешь
И не чувствуешь скачковъ,
Ни какъ сердцемъ сладко плачешь,
Ни какъ горько для боковъ.

А проѣхать ли случится
По селенью въ красный день?
Нашъ ямщикъ приободрится,
Шляпу вздернетъ на бекрень.

Какъ онъ гаркнетъ, какъ присвиснетъ
Горячо по всемъ по тремъ,
Вороныхъ онъ словно вспырснетъ
Вдохновительнымъ кнутомъ.

Тутъ знакомая свѣтлица
Съ росписнымъ своимъ окномъ:
Тутъ его душа дѣвица
Съ подареннымъ перстенькомъ.

Поравнявшись, онъ немножко
Возли въ руки приберетъ,
И растворится окошко,
Словно солнышко взойдетъ.

И покажется касатка,
Бѣлоликая краса.
Что за очи! за повадка!
Что за русая коса!

И поклонами учтиво
Размѣнялися они,
И сердца въ нихъ молчаливо
Отозвалися сродни.

А теперь, гдѣ эти тройки?
Гдѣ ихъ ухорскій побѣгъ?
Гдѣ ты, колокольчикъ бойкій,
Ты поэзія тѣлегъ?

Гдѣ ямщикъ нашъ, на попойку
Вставшій съ темнаго утра,
И загнать готовый тройку
Изъ полтины серебра?

Русскій ямъ молчитъ и чахнетъ,
Отъ былова онъ отвыкъ:
Русскимъ духомъ ужъ не пахнетъ,
И ямщикъ ужъ не ямщикъ.

Духъ заморскій и въ деревнѣ!
И ямщикъ, забывъ кабакъ,
Распиваетъ чай въ харчевнѣ
Или куритъ въ ней табакъ.

Пѣсню спѣть онъ не съумѣетъ,
Нѣтъ зазнобы ретивой,
И на шляпѣ не алфѣтъ
Лента дѣвицы милой.

По дорогѣ въ чистомъ полѣ
Болокольчикъ нашъ заглохъ,
И невиданный дотолъ,
Молча, тащится трехъ... трехъ,

Словно чопорный Германецъ
При ботфортахъ и косѣ,
Неуклюжій дилижанецъ
По Нѣмецкому шоссе.

Грустно видѣть, воли ваша,
Какъ у прозы подъ замкомъ
Поэтическая чаша
Высыхаетъ съ каждымъ днемъ;

Какъ все то, что веселило,
Иль ласкало нашу грусть,
Что съ-издѣтства затвердѣло
Наше сердце наизусть,

Всѣ повѣрья, все раздолье
Молодецкой старины,
Подѣдаетъ своеволие
Душегубки-новизны.

Нарядились мы въ личины,
Сглазили насъ недобрый глазъ
И Орловскаго картины
Буква мертвая для насъ.

Но спасибо, нашъ кудесникъ,
Живописецъ и поэтъ,
Малодушнымъ внукамъ вѣстникъ
Богатырскихъ оныхъ лѣтъ!

Русь былую, удалую,
Ты потомству передашь:
Ты схватилъ ее живую
Подъ народный карандашъ.

Захлебнувшись прозой прѣсной,
Охмелѣть ли захочу,
И съ мечтой изъ давки тѣсной
На просторъ ли полечу —

Я вопьюсь въ твои картинки
Жаждой чувствъ и жаждой глазъ,
И творю въ душѣ поминки
По тебѣ, да и по насъ.

КН. ВЯЗЕМСКІЙ.

ДВА НЕИЗДАННЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ
А. С. ПУШКИНА.

I.

КЪ ***

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться;
Спокойствіе мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нѣтъ, полно мнѣ любить; но почему жь порой
Не погрузуся я въ минутное мечтанье,
Когда печально пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдетъ и скроется? . . . Ужель невозможно мнѣ
.....
Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей,
Веселый міръ души, безпечные досуги,
Все — даже счастье того, кто избранъ ей,
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги.

II.

ПРОЩАНІЯ.

Въ послѣдній разъ твой образъ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И съ нѣгой робкой и унылой
Твою любовь воспоминаеть.

Бѣгутъ, мѣнясь, наши лѣта,
Мѣня все, мѣняя насъ,
И ты ужь нынѣ для поэта
Могильнымъ сумракомъ одѣта,
И для тебя твой другъ угасъ.

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Какъ овдовѣвшая супруга,
Какъ другъ, обнявшій молча друга
Прежъ заточеніемъ его.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

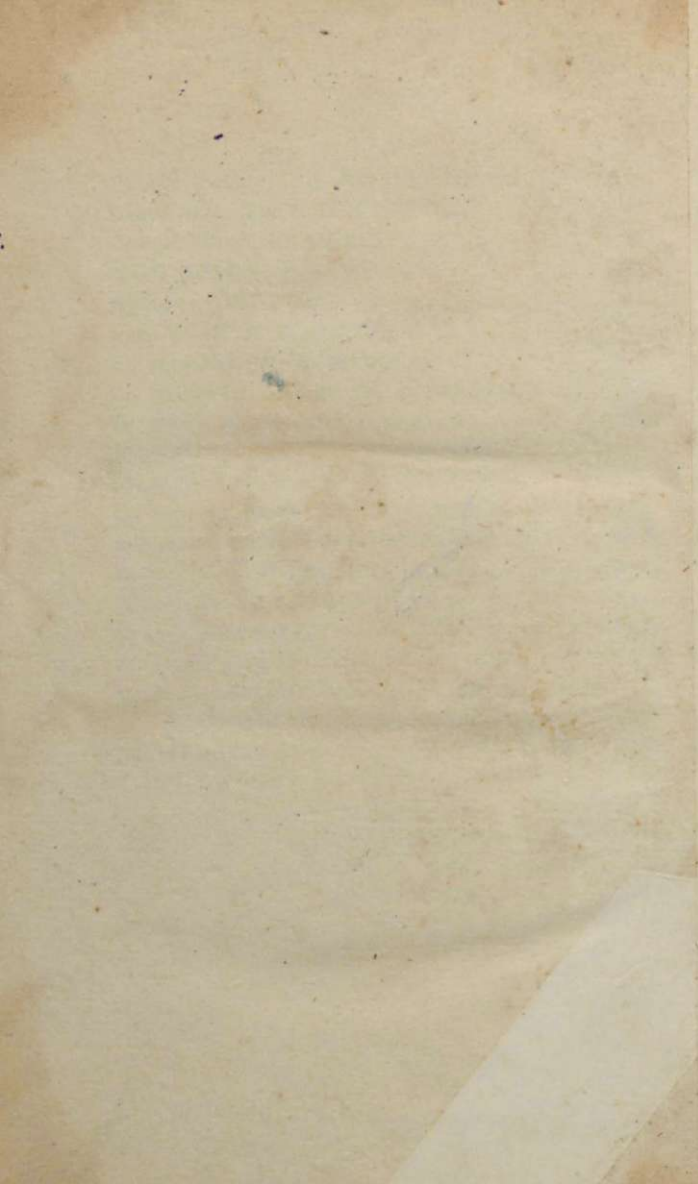
П Р О З А.

	Стран.
Изъ памятной книжки. (И. П. ДМИТРИЕВА)	1.
Бошелекъ. (И. П. ПАНАЕВА)	5.
Конецъ міра. (И. П. БАМЕНСКАГО)	91.
Сцены изъ частной жизни Аиста. (В. А. ВЛАДИСЛАВЛЕВА)	169.
Разсказъ невольника, Хивинскаго уроженца Андрея Никигина (В. П. ДАЛЯ)	188.
Занесенн Гробовщика. (Б. В. О. О.)	221.
Мечта и дѣйствительность. (В. А. ВЛАДИСЛАВЛЕВА).	312.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Школа. (И. В. КУБОЛЬНИЦА.)	3.
Погоня. (О. П. ГЛШКИ.)	85.
Ветхій Заветъ. (В. П. СОКОЛОВСКАГО.)	86.
Радуга надъ кладбищемъ. (Д. Ю. СТРУЙСКАГО.)	87.
Весна. (И. А. СТЕПАНОВА.)	89.
Послѣдняя сцена изъ Фауста. Темница. (Э. П. ГУБЕРА)	157.
Сельская жизнь. (И. П. КОЗЛОВА.)	181.
Демонъ сомнѣній. (И. В. КУБОЛЬНИЦА.)	184.
Къ Поэту (Л. А. ЯКУБОВИЧА.)	187.
Судьба Рима. (М. Д. ДЕЛАРИЮ.)	212.
Рокковыя битвы. (Л. А. ЯКУБОВИЧА.)	216.
Могилья и Роза. (И. А. СТЕПАНОВА.)	218.

Римскія Элегіи. (А. Н. СТРУГОВЩИКОВА.) . . .	219.
Бѣлая Дѣва. (Г. Е. П. Р. ОИ.)	289.
Стансы. (П. П. БОЗЛОВА.)	291.
Элегія (БАРОНА Е. Ф. РОЗЕНА.)	292.
Прощаніе. (БЕРНЕТА.)	293.
Русалка. (П. Я. ПОЖАРСКАГО.)	295.
Къ друзьямъ. (П. П. ЕРШОВА.)	303.
Къ Италу-Ивснопѣвцу. (Н. В. КУБОЛЬНИКА.)	305.
Къ Поэту. (В. П. СОКОЛОВСКАГО.)	307.
И переживъ. (КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО.)	309.
Базакъ на чужбинѣ. (Е. П. ГРЕБЕНЬИ.)	311.
Ты свѣтлая звѣзда. (КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО.)	322.
И одинокъ. (В. П. СОКОЛОВСКАГО.)	323.
Волны. (Л. А. ЯБУБОВИЧА)	335.
Соловей. (Е. П. ГРЕБЕНЬИ)	337.
Моленіе. (БЕРНЕТА.)	338.
Къ Бѣлой дѣвѣ. (Г. Е. П. Р. ОИ.)	340.
Памяти извошца Орловскаго. (КН. П. А. ВЯ- ЗЕМСКАГО)	349.
Два неизданныя стихотворенія. (А. С. ПУШКИНА.)	348.





2011094718